



*Автор бестселлера
«ВРЕМЯ ЖЕНЩИН»*

*Елена
Чижова*

Город, написанный по памяти

*...В моем прекрасном,
в моем несчастном городе.
В моей семье...*

Елена Чиждова

Город, написанный по памяти

«Издательство АСТ»

2019

УДК 821.161.1-31
ББК 83.3(2Рос=Рус)6-44

Чижова Е. С.

Город, написанный по памяти / Е. С. Чижова — «Издательство АСТ», 2019

ISBN 978-5-17-114492-0

Прозаик Елена Чижова — петербурженка в четвертом поколении; автор восьми романов, среди которых «Время женщин» (премия «Русский Букер»), «Орест и сын», «Терракотовая старуха», «Китаист». Петербург, «самый прекрасный, таинственный, мистический город России», так или иначе (местом действия или одним из героев) присутствует в каждой книге писателя. «Город, написанный по памяти» — роман-расследование, где Петербург становится городом памяти — личной, семейной, исторической. Елена Чижова по крупицам восстанавливает захватывающую историю своей семьи. Графская горничная, печной мастер, блестящая портниха, солдат, главный инженер, владелица мануфактуры и девчонка-полукровка, которая «травит романы» дворовым друзьям на чердаке, — четыре поколения, хранящие память о событиях XX века, выпавших на долю ленинградцев: Гражданская война, репрессии 1930-х годов, блокада, эвакуация, тяжелое послевоенное время.

УДК 821.161.1-31
ББК 83.3(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-114492-0

© Чижова Е. С., 2019
© Издательство АСТ, 2019

Содержание

Глава первая	7
I	7
II	16
III	22
IV	34
V	43
Конец ознакомительного фрагмента.	45

Елена Чицова

Город, написанный по памяти

Я начинаю задолго до себя, поскольку никто не смеет описывать свою жизнь, если он не обладает достаточным терпением, чтобы перед тем, как наметить вехи собственного бытия, не упомянуть, на худой конец, хоть половину своих дедов и бабок.
Гюнтер Грасс. «Жестяной барабан»

С истиной спорить можно. С памятью – нет.
Из фрагментов рукописи, не вошедших в основной текст

Раньше я знала, *она* бывает. В сказке – про царевну, про мальчика-с-пальчика, в яйце, в ларце, в сундуке, под златом, над которым *кощейбессмертный* чахнет. Или в слове, если скажут: умер, и лицо говорящего затуманится как зеркало, когда на него надышишь.

Однажды, проснувшись среди ночи, я осознала: она есть.

Там, за ширмой, отгораживающей мою кровать от комнаты.

Она – ничто. Не похожа ни на что, у нее ни знака ни образа, ни рук ни ног, ни глаз, которыми она на меня смотрит, ни ушей, которыми она слышит.

Но она стоит.

Замерев – на кончике иглы, в яйце немного безъязыкого страха, – я ждала: сейчас она сдвинет створку, и теплая темнота моей жизни обернется крошечной тьмой.

Я и теперь не знаю, что заставило ее дрогнуть, но она дрогнула, замутнилась, точно хрусталик под старческой катарактой, напоследок дав мне понять: ужас не в том, что я исчезну, а в том, что растворюсь. Позабуду себя, родителей, бабушку...

Так осознавал смерть древний человек – душа без остатка растворяется в тотеме, совокупной душе его рода-племени. Много лет спустя я прочту об этом в книге, обнаруженной в чьей-то домашней библиотеке. Но той ночью – вглядываясь во тьму широко открытыми, остановившимися глазами, – я задумала ее посрамить.

С этих пор – со страстью, с какой средневековые скупцы копили свои динарии, гроши и талеры, – я собирала слитки памяти, стараясь запомнить все, что видела и слышала. То, что, в отличие от звонких монет, они не имеют свободного хождения, меня нисколько не смущало. Я и не собиралась пускать их в оборот. Мне хватало и моих сундуков, чтобы, время от времени запуская в них пальцы, убеждаться: они, мои слитки, здесь.

Пройдет немало лет прежде чем, решившись их отчеканить, я пойму, что наряду с благородным металлом в них присутствует неустраняемая примесь моей и чужой беспамятности, опасливой недоговоренности, а то и преднамеренной, хотя и объяснимой, лжи.

Пойму, но не смирюсь.

Смерть – беспамятство. Чем глубже становится моя память, тем мутнее я вижу смерть. Похоже, я имею дело с ее заместителями. Порой она видится мне долгожданным отдыхом. Иногда – сном. Временами во мне крепнет надежда на посмертную встречу с теми, кто ушел прежде меня...

Но все эти взрослые соображения меркнут перед лицом настоящей смерти, чью близость я однажды пережила.

Смерть, где твоё жало?

Год за годом задаваясь этим неотвратимо-мучительным вопросом, я оглядывалась по сторонам, пока не догадалась: оно здесь – в моей бедной, в моей загубленной стране.

В моем прекрасном, в моем несчастном городе. В моей семье.

Так сложилось ходом истории – общей, семейной, личной.

За этим триединством мерещится отсылка к трем аристотелевым правилам. В сущности, мнимая. Из трех классических единств на долю моего города осталось два: места и действия – эта трагическая пьеса имеет один главный сюжет. Что касается времени, его течение столько раз нарушалось, что ни о каком единстве и говорить не приходится.

Разве что в тех, впрочем, нередких случаях, когда события чьей-нибудь жизни наводят на мысль о повторении – того, что было прервано. А поскольку прерванного не восстановишь, остается только надеяться, что от прошлого – теней, лежащих на моей жизни, – я сумею как-нибудь отделаться. Одним словом, избыть.

Другой вопрос: как?

Однажды, путешествуя по Италии, я наткнулась на римскую крепость, разрушенную еще в древности, но в наши дни поднятую из руин. Эти подлинные руины-обломки реставраторы не заложили камнями – напротив, окружили их новой кладкой.

Обломки, на которые я могу *положиться*: несколько семейных фотографий; бабушкины слова, застрявшие в моей детской памяти; мамины рассказы – года три назад я записала их на пленку. Если не считать нескольких непреложных условий, образующих канву прошедшего века: революция, советская власть, война, блокада, – у меня больше ничего под рукой.

Все остальное – новодел. Плод разгулявшегося воображения и более-менее вольных интерпретаций. Окажись на этом месте любой из моих родственников, наша семейная история могла бы предстать иной.

Не знаю, насколько меня это оправдывает. Скорее, не оправдывает вовсе. Пусть хотя бы послужит объяснением того, на что я потратила свою единственную, теперь уже иссякающую, жизнь.

Те, кто идут за мною, будут и мудрее, и дальновиднее. Я за них рада. И вправду, сколько можно кружить, вглядываясь в прошлое. Пора, пора отрясти его прах и двинуться дальше, строя новую жизнь без оглядки на то, чего давно нет. А быть может, и не было...

Например, войны – не той, о которой можно прочесть в любом учебнике истории: готовясь к очередному экзамену, освежить в памяти ее даты. Речь о другой войне, чью историю, вопреки расхожему мнению, пишут побежденные.

Победители не пишут, а творят; а потом слагают о ней мифы.

Но дело не только в лживых мифах (в конце концов, на то и существует историческая память – если понимать ее не как мешок, набитый опорками стоптанного прошлого), а в том, что и нам, побежденным, случается впасть в соблазн: возомнить себя победителями. Надеюсь, меня он не коснется. А с другой стороны, чем только черт не шутит – особенно здешний черт.

Именно на этот случай: пока я – на пустом месте – не возомнила себя победителем, я обязана сделать важную оговорку: единственное, за что я по совести могу поручиться, – ширма, за которой *что-то* стоит.

Глава первая

I

Город, где я встретила смерть, назывался Ленинград. Мне приходится делать над собой усилие, чтобы за этим названием расслышать имя Ленина, о существовании которого я узнала, когда имя города уже занимало отдельную клеточку моей памяти: сквозь ее прочную мембрану вождь мирового пролетариата так и не сумел просочиться. *Городленина* – привычное советское сочетание – осталось для меня посторонним звуком. На вопрос, где я родилась, я отвечаю: на Театральной площади. Что, строго говоря, не так.

На самом деле – на улице Маяковского в знаменитой Снегиревке. Причем незаконно. Или, скажем, противозаконно. Короче, я не имела права являться на свет. Дело в том, что мама болела туберкулезом (тогда его именовали противным мушиным словом: *тэбэце*). Но мушиным оно слышится мне. А в те годы оно звучало страшно. Как для нас, положим, онкология и другие смертельные болезни, от которых, в принципе, вылечиться можно, и все-таки каждое выздоровление – чудо.

Теперь, когда эта зараза не то чтобы побеждена, но по меньшей мере знает свое место, известно, что ее широчайшая распространенность была связана со скудным питанием, худой одеждой и обувью, теснотой и перенаселенностью коммуналок, а также общим уровнем фармакологии, когда в отсутствие эффективных лекарств туберкулезные больные пользовались экзотическими паллиативами, самый желанный из которых – барсучий жир. Считалось, что, принимая его перорально, можно «залить каверны». К этим экзотическим средствам маме прибегнуть не пришлось.

Спасло ее то, что первая – «открытая» – стадия заболевания совпала с появлением в советских больницах чудодейственного средства. Пенициллин. В сочетании с пневмотораксом плевральной полости, а говоря по-простому – поддуванием (эту во всех отношениях неприятную процедуру Томас Манн романтически описал в романе «Волшебная гора»), пенициллиновые инъекции давали поразительные результаты: в мамином случае каверны затянулись буквально месяца за три.

Во всем остальном эта история дает мало поводов для сравнения с «волшебной горой». Тут у нас свои *горы и горки*. Одна из них та, что года за два до болезни и примерно за год до знакомства с моим отцом мама успела выскочить замуж за некоего «Зарубаева». Беру его в кавычки потому, что мое отношение к этому (к счастью, третьестепенному) персонажу нашей семейной истории зиждется на одной весьма колоритной сценке: когда мама, говоря прямо, умирала, этот тип явился в больничную палату в компании неведомой шалавы, чтобы задать ей прямой вопрос: когда ты наконец сдохнешь? (Специально для любителей подобных вопросов: Бог – хоть верь в Него, хоть нет, – внимательно отслеживает такого рода инвективы, при случае посылая их авторам *обратку*. Здесь я замолкаю, чтобы, в общих чертах зная дальнейшее течение событий, не впасть в рассуждения, не слишком благочестивые с точки зрения общепринятой морали. Тем более что тело со следами насильственной смерти, найденное в глубокой Сиверской канаве, говорит само за себя.)

В продолжение этой сценки мама лежала лицом к стене. Но вопреки пожеланию Зарубаева (тогда – официального супруга) не сдохла, а наоборот выздоровела. Точнее, ее болезнь перешла в «закрытую» фазу, безопасную для всех, кроме самого больного и, сильно забегая вперед, будущей меня.

До болезни мама работала кассиршей в угловой булочной на Театральной площади, что, в сравнении с прежними записями в ее трудовой книжке, можно назвать карьерным дости-

жением, поскольку начинала она продавцом. Не знаю, как обстоит с этим в наши дни, но в начале пятидесятых к «учебе на продавца» подходили серьезно. Прежде чем встать за прилавок, полагалось пройти годичное обучение на специальных курсах, носивших гордое название «Школа торгового ученичества» – на мой вкус отдающее легким безумием. Равно как и перечень предметов на ее «Молочно-мясном и колбасном факультете»: ладно бы всякие мясо-молочно-колбасные премудрости, но за каким чертом мучить торговое ученичество историей КПСС и политэкономией?..

– Как за каким?! – я слышу голоса возмущенных методистов. – За тем самым. – С коим мама познакомилась еще в седьмом классе, получив от него предложение, от которого не то что в те – даже в мои школьные годы было не принято отказываться. Но меня, знающую мамин характер, изумляет не столько сам отказ (кстати, не основанный на каких-нибудь более или менее антисоветских принципах, а так, *нипочему*, будто что-то внутри, в крови, не дает согласия), сколько формулировка, предвосхитившая все последующие бляения, к которым смельчаки моего поколения прибегали в схожих обстоятельствах: дескать, где я и – где комсомол, куда уж мне с эдаким рылом, да в ваш калашный ряд...

Впрочем, ни трудовой ее карьере, ни дальнейшему образованию этот решительный отказ не помешал. Завершив пристальное изучение советской гастрономии и устроившись работать по специальности, мама поступила в вечернюю школу (тогда это называлось «школой рабочей молодежи»), где и получила законченное среднее. 10 классов.

В нашем теперешнем понимании отличный аттестат (7 классов на круглые пятерки) не слишком вяжется с идеей вечерней школы. Не говоря уж о мясо-молочных курсах. Да, конечно, мечтала о большем: поступить в медицинский, стать врачом. Но, как нередко бывает, не срослось. Все одно к одному: отец погиб на войне, мать тянула ее одна, неудачное первое замужество, тяжелая, едва не смертельная болезнь – а еще раньше жестокий фурунгулез, предвестник *тэбэце*, не распознанный вовремя... По обычаю русской жизни пришлось применяться к обстоятельствам, но сейчас не о жизни, а о школе.

Широкий доступ к среднему и высшему образованию – бесспорное «завоевание социализма». Но как и многое в отечественных широтах, эта условная правда требует уточнений¹.

В первые советские годы образование – с упором на ликвидацию безграмотности – оставалось бесплатным. Однако осенью 1940-го (ввиду активной подготовки к войне стране нужны рабочие) Совет Народных Комиссаров вводит общеобязательную плату за обучение в старших классах дневной средней школы, а также в техникумах и училищах, не говоря уже о вузах, где фигурировали весьма ощутимые для личных и семейных бюджетов суммы². Попробуйте в течение пяти лет выкраивать по 300–400 рублей ежегодно (при том что средняя месячная зарплата – те же самые 300 дореформенных) – если цены на товары первой необходимости, вопреки расхожим представлениям, бытующим в наши дни, очень даже кусаются.

Кстати, основным мотивом поставленного ребром вопроса, с которым «товарищ Зарубаев», сопровождаемый вышеупомянутой шалавой, явился в мамину туберкулезную палату – кроме, конечно, чистого удовольствия от собственного хамства, – были 50 (*пятьдесят*) рублей. Именно эту сумму по тогдашнему закону вносила в государственный бюджет сторона, виновная в разводе. Собственно, признания вины с последующей оплатой он и требовал от мамы, не слишком надеясь, что она и так со дня на день помрет.

Иными словами, получить образование можно, но для этого требуется железная мотивация – такая, как у моего отца.

¹ До времени закроем глаза на классовый подход, когда детей «бывших», будь ты хоть семи пядей во лбу, в вузы не принимали – что, кстати говоря, декларировалось открыто, в отличие, скажем, от отбраковки по «пятому пункту» в семидесятых-восемидесятых, когда государство действовало исподтишка.

² Постановление СНК № 638 от 26.10.1940 действовало вплоть до его отмены в 1956 году.

Под раздачу СНК отец не попал единственно по причине возраста. Приехав в Ленинград из далекого Мозыря с одним картонным чемоданчиком, он (в 1929 году четырнадцатилетний выпускник хедера, с трудом изъяснявшийся по-русски) успел пройти все стадии бесплатного обучения: сперва «ремеслуху», за ней – вечернее отделение Политехнического института, которое закончил с отличием и без отрыва от производства не то танков, не то тракторов – в общем, того, что накануне войны наладился выпускать знаменитый Кировский завод (до известных событий, с которых «вождь и учитель» начал разгром ненавистного ему Ленинграда, – Путиловский). С этого предприятия, имея на руках инженерскую бронь, он ушел добровольцем в ленинградское ополчение, не раздумывая ни дня. Но, в отличие от большинства ополченцев, сложивших свои образованные головы, выжил, и в 1943-м, успев повоевать под Москвой командиром этого самого «трактора», изготовленного его родным заводом, стал начальником автоколонны, подвозящей снаряды к линии фронта. От «соискателей» на эту *смертельную* должность (колонне грузовиков, идущей, скажем, по лесной дороге, сворачивать некуда; как начальник колонны, чья машина идет первой, отец знал: когда немец отбомбится, он, если, конечно, выживет, не досчитается двух-трех грузовиков со всем их содержимым как в живой силе, так и в материально-техническом выражении, взлетевшими в воздух и к такой-то матери столбами дыма и огня) требовался инженерский диплом.

Учеба, работа, война – на устройство личной жизни свободного времени не оставалось. Притом что все более или менее настойчивые попытки, предпринимаемые семейством (найти для него «хорошую еврейскую девушку»), отец мягко, но решительно отвергал. А если учесть, что его родные братья в ту пору были давно и правильно женаты – он, единственный из всей их дружной семьи, шел поперек. По какой причине – доподлинно я не знаю, однако, зная отцовскую натуру, догадываюсь: ждал «настоящей любви». Полагаю, свою роль сыграла и классическая русская литература: перебравшись в столичный город, отец, наверстывая упущенное в хедере, много и увлеченно читал.

Между тем его любовь работала кассиршей.

Фотографии сохранили образ русской красавицы, недостижимый многочисленными нами – полу- и четвертькровками двух грядущих поколений (женские стати третьего пока не проявились). И хотя, скажу без ложной скромности, мы тоже *ничего*, но, увы, тенденция убывания налицо.

Красноречивый пример – мой любимый снимок, где мама запечатлена на фоне аккуратного стога сена. С серпом в руке. Хрестоматийный сельский антураж подчеркивает ее изумительную красоту. И хотя серп она держит вполне по-человечески, не задирая к небу, меня не покидает ощущение незавершенности идеологического гештальта: фотографической инсталляции недостает конгениального по красоте рабочего – разумеется, с молотом.

Мельком и забегаая вперед: паразит-Зарубаев, до поры выдававший себя за интеллигента, на эту роль явно не подходил. Да и странно рассуждать о гештальтах, когда семья живет на зарплату молодой супруги, которую молодой супруг не гнушается тратить на рестораны, норовя утопить в веселом и пьяном омуте не токмо тоску по «красивой благородной жизни», но и скромные суммы, отложенные на первоочередные житейские нужды, к примеру, зимнее пальто с меховым воротничком.

Впрочем, не только эта одна – все фотографии недолгой поры маминого девичества хороши как на подбор. Причина в том, что сделаны они профессиональной камерой: Коля, ее тогдашний кавалер, учился в Ленинградском институте киноинженеров. Чтобы «набить глаз», а заодно набраться профессиональных навыков выдержки-проявки-печати, он щелкал направо и налево, снимая едва ли не все, что попадалось на глаза и под руку, но, надо ж было так случиться, что именно этот его снимок завоевал первое место на всесоюзном конкурсе фотографов-любителей. И, в качестве награды, право публикации на обложке «Огонька».

Фотографическому триумфу помешало тонкое обстоятельство, на которое очарованные члены высокого жюри не обратили должного внимания. Не то бдительные цензоры. Они-то и заметили, что «крестьяночка» одета в шелковую блузку. Казалось бы, и что такого – растет-де зажиточность советского крестьянства. Но, похоже, цензорские мозги торкнула другая мысль: шелковая – читай «городская». В общем, непорядок, не лезущий ни в какие, даже самые соц-реалистические ворота: спору нет, грань между городом и деревней стирается, но все-таки до шелков и бархатов на стерне дело пока что не дошло.



Бог весть, как сложилась бы дальнейшая Колина судьба, рассуди цензоры иначе, но попал он – вместо главного иллюстрированного журнала страны – на Пряжку, в знаменитый «желтый дом». Чему предшествовало его в высшей степени скандальное поведение. Вообразите советского студента, который бегаёт по родному вузу, обращаясь к каждому встречному и поперечному с навязчивым вопросом: «Где моя Вера?» Пока разобрались, пока поняли, что тут всего лишь женское имя, а не поиски экзистенциальных смыслов в отдельной сбрендившей голове представителя интеллигентской – в первом поколении – прослойки, дурдомовская карета уже приспела.

Угодив в скорбное заведение, запросто оттуда не выберешься, так что Колины матримониальные планы рассыпались сами собой³.

На их развалинах, собственно, и возник Зарубаев – писанный красавец и ленинградец. А через год, когда молодая семейная жизнь рассыпалась тоже, в булочную на Театральной площади зашел мой отец.

Увидев маму, сидящую за кассой (и, видимо, не приходя в сознание – ничем иным мне не объяснить отчаянной решимости скромного до застенчивости человека, ко всему прочему отнюдь не блиставшего красотой), он – вместо «мне, пожалуйста, половинку черного, одну *городскую*» и горстки звонко пересыпаемой мелочи – передал в окошечко кассы сложенную вчетверо записку (вернее, письмо, составленное в таких куртуазных выражениях, что впору задуматься не о косвенном, а о самом что ни есть прямом влиянии классической русской литературы на ход моей семейной истории). Еще одно вероятное объяснение: храбрость недавнего фронтовика, смело входившего в чужие столицы. В отцовском случае ту, от которой до Веры – в именительном падеже – всего-то одна буква.

Эту записку – до сих пор хранящуюся в маминых личных бумагах – она, протянув руку за мелочью, машинально приняла. Развернув клетчатый листочек по окончании рабочей смены, но отчего-то не впечатлившись ни стилем, ни слогом (мельницы бога, во всяком случае, в головах молодых красавиц, и впрямь мелют медленно), она обратилась к коллегам-продавицам из гастрономии с предложением поделиться нежданно-негаданно привалившим счастьем: мол, если интересуетесь завести серьезного, в годах, кавалера (храброму автору записки было прилично за тридцать), вот, мол, его домашний телефон. В ответ она получила звонкий девичий смех и: «сама звони, гражданин тебе написал». В общем, посмеялись и забыли, крутим дальше колесо, точнее жмем на кнопки кассового аппарата. Или исправно, по первому требованию покупателей, нарезаем сырно-колбасную продукцию ломтиками, тонкими в той мере, в какой позволяют несовершенные средства производства – огромные ножи. И уж если речь зашла о ножах: у тех, кто орудует ими с утра до вечера, на ладонях остаются жесткие трудовые мозоли. От которых навсегда избавлены благоразумицы, догадавшиеся закончить двухмесячные курсы кассового мастерства.

Так и не дождавшись звонка, отец явился снова и – нынешним девушкам на заметку – здесь же, не отходя от кассы, сделал официальное предложение. Взяв время на размышление, мама ответила согласием, в составе которого (да простят меня участники событий, прожившие в счастливом браке тридцать восемь лет – до самой папиной смерти) преобладали не столько нежные чувства, сколько вполне прагматические резоны: от Зарубаева, к которому

³ Пересказывая эту давнюю историю, я вовсе не утверждаю, будто она во всех деталях совпадает «с жизнью». Тот, кого я самочинно нарекла Колей, в действительности мог быть Валентином. И в Институте киноинженеров, вполне возможно, учился не Коля, а, например, Сергей. Здесь важен собирательный образ маминых воздыхателей, пылких – но лишь с их стороны. Мама сохраняла на диво трезвую голову, во всяком случае, замуж ни за кого из них не собиралась. Главным препятствием служило то, что по роковому (для них) стечению обстоятельств все ее «женихи» были иногородними. Что – согласно советскому домостроевскому принципу: куда иголка, туда и нитка, лежавшему в основе послевузовского распределения, – означало неизбежный отъезд из Ленинграда. Чтобы этого избежать, она и вела себя как Пенелопа: завязав романтические отношения, вскорости их распускала.

прописалась после замужества, она уже ушла, но в восьмиметровую комнату, где была прописана раньше, так и не вернулась. И тут мы ступаем на сакральное поле пресловутого «квартирного вопроса», выщедившего немало крови из советских граждан – отнюдь не только москвичей. Не желая быть вовлеченной в давние семейные распри, а также обходя стороной не красящие мою прабабушку подробности, отмечу, что приют она нашла у подруги своей матери (обе: и мать, и ее подруга – трудились на одном производстве).

Со стороны этой доброй женщины жест, вне всякого сомнения, широкий, хотя и не вполне бескорыстный, сделанный с расчетом на устройство личной жизни единственного сына. Не исключено, что ее расчет мог оказаться верным – если бы в дело не вмешался фурункулез, предвестник *тэбэцэ*.

Наряду с неэстетичностью внешних проявлений, это заболевание характеризуется неотвязной болью – порой острой, но чаще ноющей, – что никак не способствует зарождению любви. На которой, вконец обалдев от свалившейся с неба красоты, настаивал хозяйский сын, предаваясь мечтаниям в своей комнате, смежной с материнской.

И что прикажете делать бедной девушке, кроме как выбирать из двух зол?

Но ведь и для отца – в то время проживавшего на ул. Декабристов (и тоже через стенку со своей матерью) – выбор оказался не из простых. С одной стороны, высокие романтические чувства, но с другой-то: провинциальная еврейская семья, в материнском поколении воистину патриархальная, со всеми непреложными, окрепшими в веках, принципами мясо-молочной кулинарии, далекими от советской нераздельности – к тому же возведенными в абсолют.

Собственно, отличные знания, полученные на молочно-мясном факультете, маму и подвели. Вступив в права и обязанности младшей невестки (NB! Жены любимого сына, к тому же самого талантливого из всех многочисленных детей, «за которого с охотой пошла бы любая хорошая еврейская девушка, так нет, этот шлимазл выбрал шиксу, к тому же разведенку»: я не цитирую, а пытаюсь воспроизвести ход мыслей моей будущей бабушки – что не так-то легко, ведь единственная наша с нею встреча продлилась каких-нибудь три минуты, после чего старая женщина, которую мне заранее было приказано называть «бабушкой», но до слов дело не дошло, погладила меня по голове и ушла в дом, оставив нас с мамой на крыльце), – короче говоря, на другой день после свадьбы мама решила сварить мясной суп. И с этой целью взяла первую попавшуюся кастрюлю. Как назло именно ту, что предназначена «под молоко».

Оскверненную емкость пришлось немедленно, тем же вечером, выбросить – что свекровь и сделала, на первый раз деликатно смолчав. Видимо, надеясь, что ужасное осквернение случилось по недоразумению и впредь никогда не повторится, особенно если тактично поговорить с сыном, чтобы тот, в свою очередь и тоже тактично, но твердо...

Беседа о кастрюле действительно состоялась, но кроме кастрюль в хозяйстве случаются еще и сковородки, а также разделочные доски, половники, тарелки, ложки и прочее, включая ножи, не слишком отличные от тех, которыми нарезают то сыр, то колбасу попеременно и по первому требованию советских покупателей. По мере того как мама осваивалась на свекровкиной кухне, эти предметы обихода, опороченные мясо-молочной неразборчивостью, постепенно перекочевывали из кухонных шкафчиков в дворовые помойные баки. Надо отдать должное папиной матери: проведя вводную беседу, далее она молчала как партизан. Пока однажды, пошарив в подозрительно пустом шкафчике, мама сама не заподозрила неладное – результатом чего и стало *другое разделение*, начавшееся с похода в ближайший посудный магазин, где они с отцом совершили первую семейную покупку: ту самую дюралюминиевую с черным покрытием (а может быть, напылением) сковородку на деревянной ручке, которая до сих пор живет у нас на даче. И, кстати сказать, исправно служит.

Берясь за ручку сей исторической посуды, я думаю о матери своего отца. Скорее, с благодарностью. Моей благодарности не в силах помешать даже ее стремительный отъезд в Мозырь, ровно через четыре месяца от начала совместного хозяйствования, когда врачи обна-

ружили в легких ее невестки «открытый процесс». Слава богу, ни отец не нуждался в материнском благословении, ни она не стремилась как-нибудь по-ветхозаветному его проклясть. Просто собралась и уехала на родину доживать век со старшей дочерью – все лучше, чем курочить собственную душу и сыновью жизнь.

Оглядываясь назад – но уже не на отцовскую, а на мою собственную, на одном из этапов которой я (подобно многим в моем, Бог знает что пережившем и передумавшем, поколении), предалась поискам высоких религиозно-нравственных идеалов, – я думаю так: яви она, моя бабушка по крови, большую широту воззрений в ущерб традиционной иудейской жестокости – не избежать бы мне «путаницы в понятиях». Но этот ее урок, преподанный без лишних слов, одним-единственным жестом, убедил меня в том, что всякая духовная традиция, застывшая в своей последней, непререкаемой форме, призвана не соединять, а разъединять. А уж если на то пошло, крепость духа можно выковать и на других наковальнях. Этим уроком кузнечного дела я обязана своему неверующему отцу.

Да, конечно, любовь. Однако палочки *тэбэце*, выходящие наружу буквально с каждым шепотом, с каждым робким, равно и не робким, дыханием, а тем более при отсутствии штампа в паспорте, удостоверяющего законность брака, – это вам не кухонный инцидент. В особенности если не знать, что «открытая стадия» продлится недолго, всего-то месяца четыре – после чего опасность заражения скукожится. Сойдет на нет.

«Закрытая стадия» позволяла вести почти нормальную жизнь: раз в неделю ходи на подувания, в остальном делай что хочешь. Этой возможностью мама и воспользовалась, во-первых, уволившись с работы (с кассой, исполнившей свое судьбоносное предназначение, она осталась без сожалений); во-вторых, записавшись на очередные двухгодичные курсы: «Кройки и шитья».

С течением времени выяснится, что и это ее решение станет судьбоносным. На сей раз для меня. Но поскольку меня еще нет – как принято говорить, даже «в проекте», – скажу лишь, что параллельно с учебой она начала подрабатывать и мало-помалу собрала довольно обширную коллекцию состоятельных дамочек, готовых платить за индивидуальный пошив. Ашила она великолепно. В этом были убеждены не только ее клиентура, но и преподаватели, с первых дней признавшие в новой курсистке «настоящий швейный талант».

Единственный запрет для больных *тэбэце* – беременность. О чем мама, имея опыт больницы соседства с разговорчивыми женщинами, разумеется, знала – а потому к гинекологу не пошла. Во всяком случае, на ранних сроках, как предписывается правилами. И, явившись на седьмом месяце, услышала, что она – не мать, а преступница – носит заведомого урода. Далее следовал перечень вероятных последствий, ожидающих ее несчастного первенца, и радикальное предложение, которое она, заранее набравшись решимости, отринула, поставив подпись под документом, где значилось черным по белому: «О последствиях беременная предупреждена».

Собственно, по этой причине я и родилась в Снегиревке, в единственном на весь Ленинград туберкулезном родильном отделении, куда свозили таких же преступниц, как моя мама: на тот момент их набралось две. Как потом мама утверждала, она-то была уверена, что ребенок родится здоровым – но, говоря объективно, врач, предупредившая о вероятных последствиях, несколько не преувеличила. Мамина соседка по палате родила мальчика с тяжелым неизлечимым диагнозом: водянка головного мозга.

С оглядкой на эту, вполне реальную, возможность, можно сказать, что нам обоим повезло: мама отделалась испугом, я – повышенным внутричерепным давлением. Которое в ту пору еще не научились диагностировать, да и вообще относились проще: орет младенец с утра до ночи, и пусть себе орет, легкие развивает.

Но как бы то ни было, в первом раунде со смертью мы с мамой одержали победу, самым исходом схватки доказав: то, что в конечном счете смерть всегда и неизбежно выигрывает, отнюдь не означает, будто в промежуточных раундах ее невозможно победить, обставив «по очкам».

Впрочем, в этой истории интересно и другое. Едва родив, мама принялась умолять нянечку, чтобы та меня не перепутала. Не дай бог, подменила каким-нибудь мальчиком. «У меня девочка, девочка!» На что нянечка, на своем веку повидавшая всякого, ворчала: «Не бойсь, не перепутаем, сёдни одни мальчишки идут».

Вспоминая первые месяцы своего трудного материнства, мама утверждает, что я «вообще не спала». Так, во всяком случае, ей казалось. Не удивительно, что только месяца через три она заметила: ребенок держит голову «как-то странно». В какую сторону ни поверни, отворачивается к стене.

Окажись на мамином месте я, наверняка задалась бы вопросом: а бывает ли такое, чтобы младенец помнил события, случившиеся, ну скажем, в каких-нибудь больничных палатах, куда заявляются бывшие мужья со своими шалавами? На мое счастье, маме, умученной хронической бессонницей, было не до экзистенциальных вопросов. Не мудрствуя лукаво, она поделилась своими тревогами с участковым врачом.

Тут-то и выяснилось: кривошея. Скорей всего, следствие родовой травмы. С быстророждающими (точнее, быстророждающимися)⁴ такие неприятности случаются. Предупредив молодую мать о новых грозных последствиях (если меры не принять немедленно, кривизна останется на всю жизнь), участковая продиктовала заветный телефон. Тем же вечером, позвонив по указанному номеру, мама узнала, что у лучшей, по версии нашей участковой, массажистки заказы расписаны на полгода вперед. Другая на ее месте заметалась бы в поисках альтернативных возможностей, но маму заворожило слово «лучшая».

Попросив выслушать ее, не перебивая, она внесла встречное предложение. Попутно объяснив, что также не чурается частного предпринимательства (это не ее, это мои слова, свою мысль мама наверняка выразила иначе: мол, подрабатываю надомным шитьем). Причем шью не абы кому, а *такой-то* и *такой-то* — перечень имен и фамилий «знатных» городских женщин говорил сам за себя. И, переждав паузу, продолжила: вы будете делать массаж моей дочери — двадцать дней без перерыва. А я вам *хорошо* заплачу. Но не деньгами, а платьями. В количестве пяти штук. Учитывая уровень мастерства советских швейных фабрик (если коротко: что ни надень — сидит как на корове седло), не приходится удивляться, что частная и честная сделка была немедленно заключена.

Результатом стала, с одной стороны, моя выправленная шея, а с другой, оговоренное число готовых изделий, одно из которых мама помнит до сих пор: отрезное, с прилегающим лифом и юбкой «колоколом», из тонкой зеленоватой шерсти (оттенок назывался *бутылочным*), отрез которой (2,5×1,5 метра) она выстрочила тонкими защипами, причем не только по долевой — это-то не фокус, но квадратами 10×10 — воистину идея *от кутюр*, невиданная по тем временам.

Кстати, к моменту маминого швейного подвига их брак с отцом был давно зарегистрирован — но это так, к слову, данью постороннему праздному любопытству. Куда важнее то, что сейчас, прямо на ваших глазах, я заключаю в твердые кавычки: «мальчики и девочки»; «шитье как твердая валюта» — этот ряд можно продолжить. Что я и сделаю по мере дальнейшего повествования и в согласии с его внутренней логикой, когда, используя закавыченные слова как своего рода ствольные клетки, буду выращивать историю своей семьи.

⁴ Обратившись к русской литературе, можно сказать, что родила она по-крестьянски — у литературных крестьянок так заведено: рожать *на меже*. Посудите сами. В роддом она поступила в 8:00. По совету санитарки, дежурившей в приемном покое, будущий отец кинулся за шоколадкой. Соседний магазин открылся в 9:00. В 9:10 он примчался обратно, но из окошечка ему сообщили: сам ешь. Нельзя. Уже родила.

Для меня эти слова звучат словно из затакта. Там, в затакте моей жизни, случился и переезд на Театральную площадь в одну большую, 30 квадратных метров, комнату, которую родители (после скоропалительного отъезда папиной матери и скоропостижной, в сорок два года, смерти маминой мамы, напоследок успевшей *посидеть* у дочери на свадьбе, но не дождавшейся появления внучки – этот раунд смерть выиграла вчистую) выменяли, соединив две.

Кстати, о свадьбе. Со стороны родственников невесты никакой национальной напряженности не было. Если мамину маму что-то и смущало – возраст жениха. (Разница в шестнадцать лет. Ей казалось, чрезмерная. Но, с другой стороны, «закрытая форма *тэбэце*» даже писаной красавице не оставляет особого выбора.) Так что грусть, с которой я, заглядывая в затакт, думаю о своей бабушке Капитолине, соотносится не с «высокими материями», а с глаголом *посидела* – скромно, как все, что она делала в жизни. На уголке стола.

II

Будь целью моих записок возделывание личной памяти, с этой комнаты на Театральной площади мне бы и следовало начать. Рассказать о раннем детстве во всех его подробностях, каждая из которых занимает свое особое место в иерархии памяти: остается только понять, к какому уровню относится тугой водопроводный кран над *облупившейся* кухонной раковиной; к какому – сами облупины эмали; сквознячок, шевелящийся под дверью на черную лестницу, где стоят *поганые* ведра с плохо подогнанными крышками; сама черная лестница, существующая как бы в назидание другой, парадной; или высокие окна, выходящие на площадь, однако не прямо, как подобает тем, кому нечего бояться, а выглядывая из-за широкой спины Консерватории – как мне и до сих пор кажется, исподтишка.

Если предаться этому промыслу, на промывочном лотке моей памяти останется весомая горстка золотого для меня песка (песчинки так малы, что приходится собирать их подушечкой пальца).

Впрочем, попадаютсЯ и вполне полновесные слитки.

Вообразите раннюю тьму ленинградского зимнего вечера: мы с отцом едем в гастроном за икрой. По тем временам в этом нет ничего особенного: икра, красная и черная, продавалась едва ли не в каждом гастрономе. Мои ровесники должны помнить: высокие икорные грудки на белых эмалированных поддонах, обыкновенно потревоженные только с одного края. Так что дело не в икре, а в том, что мы едем. Точнее, еду я. На санках, которые отец тянет за веревочку. Еду и смотрю – то вверх, то по сторонам, то на тротуар, от стен до поребрика укрытый свежеснеженным снегом, – так серьезно и внимательно, словно наперед знаю: именно этот, а не какой-нибудь другой вечер останется со мной до конца моих дней.

Ах, как же мне хочется, отступив на обочину, порассуждать об этих вспышках памяти, таких ярких и осмысленных в сравнении с тысячами случайных снимков, коими нынешняя эпоха набивает свои бесчисленные гаджеты. Не исключено, что к ним я еще вернусь.

А пока расскажу о настольных играх (методисты называют их развивающими), к которым я пристрастилась лет с четырех-пяти.

Первым стало «языковое» лото.

На суконном языке вложенной в коробку инструкции описание игры звучит примерно так: стандартный набор (ГОСТ 1960 г.) включает ряд тематических картонок, а также мелкие карточки; с лицевой стороны каждой карточки напечатана картинка, с обратной – соответствующее слово на четырех языках (русском, английском, немецком, французском). Участники получают по одной большой картонке. Карточки раздает ведущий. Цель: покрыть соответствующие изображения, расположенные по периметру картонки. Выигрывает тот, кто сделает это первым.

Считалось – и, вероятно, справедливо, – что ребенок, увлеченный такого рода играми, обретает навыки логического и образного мышления, одновременно запоминая иностранные слова: их значение, правописание, произношение.

На первых порах мы играли с отцом. А поскольку с работы отец приходил усталым и довольно поздно, на мои призывы он не всегда откликался с одинаковым энтузиазмом. Так что, довольно быстро запомнив английские слова (других иностранных языков отец все равно не знал, впрочем, и английский он знал условно, в затруднительных случаях прибегая к словарю), дальше я играла сама.

Методический недостаток одинокой игры состоит в том, что некому поправлять ошибки. Преимущество – в отсутствии конкуренции. Независимо от того, в каком порядке выпадают карточки, ты выигрываешь всегда.

С отцом мы играли за обеденным столом. Одна я устраивалась за письменным, покрытым плексигласом. В наши дни это слово, означающее стекловидную пластмассу, давно и прочно забыто, но в годы моего детства им, в отсутствие полноценного стекла, покрывали что ни попадя, любые ровные поверхности, на которых – и все благодаря плексигласу – можно было писать чернильной ручкой (собственно, других и не существовало), а потом – и тоже укладкой – стирать.

Вот я, игрок и ведущий в одном лице, выбираю себе картонку. Пусть это будет, например, *семья*. Папа (father, Vater, père) читает газету «Правда»; мама (mother, Mutter, mère) с бабушкой накрывают на стол; сын-пионер мастерит модель аэроплана (о, эта вечная поза правильных советских мальчиков: голова слегка откинута, в правой руке крылатая бумажная «птица», глаза, подернутые мечтательной поволокой, устремлены в светлую коммунистическую даль); дочь-октябренок с неопределенной улыбкой на устах готовит школьные уроки; дедушка, сидя в кресле, любит внуками.

Теперь, аккуратно подбивая с боков, складываем маленькие карточки аккуратной стопочкой. Если играть честно – картинками кверху (чтобы ненароком не впасть в соблазн).

Потом (на память, не подглядывая), начинаем бормотать: мама – mother – подходит, бабушка – grand- mother – тоже подходит, cucumber – нет, это к овощам, для которых предусмотрена своя, *огородная*, картонка.

По замыслу методистов – в той мере, в какой я в состоянии проникнуть в их замыслы, – ребенку (в игровой форме) предлагается усвоить базовый объем понятий, исчерпывающих заданную тему. В нашем случае, учитывая выбранную картонку: *семья*. Подспудно маленький человек должен привыкнуть к мысли, что семья – явление природное, ограниченное тремя поколениями. Своего рода овощная картонка: проклюнулся, расцвел, дал плод – исчез. Все остальное, выходящее за рамки плодоносного цикла, не следует брать в расчет.

Надо признать, замысел точный. Четырехлетний ребенок верит взрослым. К тому же еще не умеет, одновременно шевеля губами и закрывая пробелы, строить логические цепочки. Например, такую: ну хорошо, с бабушками понятно. Одна умерла, «для меня недавно, для тебя – давно, ты еще не родилась»; другая пожила немножечко в Ленинграде, а потом уехала к себе на родину, «помнишь, мы ее навещали». Ну да, навещали, стояли на крыльце... Это я помню. Но ведь тут, на картонке, тут еще...

Однажды, обыграв саму себя, я сообразила: дедушка – это не соседский старик, с которым, встретив его на лестнице, полагается здороваться («Скажи дедушке: здравствуйте... Простите, Иван Федорович, она хорошая девочка, просто очень стесняется»), а кто-то, кому полагается быть в семье.

Или, выражая мысль взрослыми словами: если мы семья – где же мой дед?

Трудно понять, почему, споткнувшись об этот вопрос, я не задала его родителям – быть может, чувствовала таящуюся за ним опасность. В случае нашей семьи – ложную. Ведь родителям было что ответить: «Твой дед погиб под Ленинградом»; «Твой дед погиб в Мозыре», – если не углубляться в детали, и то и другое правда.

Но если все-таки углубиться... От эвакуации из родного Мозыря – как ни просили, ни умоляли жена и старшие дочери, – мой дед отказался наотрез, положившись на образ «благородного германского офицера», который застрял в его памяти со времен Первой войны. Тому, памяtnому, офицеру попросту не пришло бы в голову сгонять стариков, детей и женщин – пусть даже и евреев – к расстрельным ямам и оврагам. В письме, которое мой отец получил от него, уже будучи на фронте, дед рассказывал, как, проводив домашних, бродит по дому в одиночестве, сомневаясь в правильности своего решения. Итогом этих раздумий стало следующее: накануне отправки в гетто он и еще несколько таких же дряхлых старцев – дабы избежать уготованных им унижений, а заодно плюнуть в морды эсэсовским карателям – заперлись в его доме и, не прерывая громких молитв, совершили то, что на языке «протокола осмотра

места происхождения» называется *актом самосожжения*. Хотя в этом, последнем, пункте белорусы-очевидцы расходятся: будто бы дом подожгли не сами обреченные, а соседка не иудейского вероисповедания – по их просьбе. Но можно ли полагаться на свидетельства, которые вышли наружу не над свежим пепелищем, а спустя десятилетия?

И уж раз мы заговорили о временах. Специально я не проверяла, но что-то мне подсказывает: до войны никаких таких лото с *семейными картонками* не было. Ведь если бы они были... «Ну как – где? Разве ты не знаешь, твой дедушка умер». Вариант: отец. Тут единственно правильный ответ: «Погиб». Относительно самой гибели есть варианты. Разбился в самолете, когда летел покорять Северный полюс. Или просто: над просторами Арктики. Ледяные торосы, белое безмолвие. А еще лучше: защищая границу. Которая всегда на замке. Который попытались открыть. Как – кто? Враги, диверсанты. Задумали перейти границу, которая – круг логически замыкается – всегда на замке. Игра начинается заново. Тем более полно подходящих карточек: отец – *рядовой, сержант, капитан* – стоит – *за кустом, на краю оврага, у полосатого пограничного столба*, – *целясь из – винтовки Мосина, револьвера, пистолета* – в проклятых диверсантов, – *один, в составе пограничного наряда, без собаки, с собакой*. Отдельный важный вопрос: как звали собаку? На этот случай также предусмотрены варианты: *Шарик, Дружок, Джульбарс*.

Если мать не готова к играм в отшибленную память, тогда ее ответ: «Молчи. Вырастешь – поймешь».

Впрочем, методисты моего детства уже не слишком рисковали. На дворе хрущевская оттепель. «Черные маруси», тая в спецгаражах, превращаются в грязные лужи, подернутые бензиновыми разводами. Радужный слой год от года истончается. Силой поверхностного натяжения (руки так и чешутся уточнить: нечистой силой) молекулы бензина цепляются друг за дружку, пыжась сложиться в зловещие «Хлеб» и «Мясо». Как принято выражаться в их *всесильном ведомстве*: встать в строй. Пусть не в этом поколении, пусть хотя бы в следующем, когда все «лишнее» выветрится из ненадежной людской памяти. Растворится в нашем общем, нашем первобытно-общинном тотеме...

Но – еще раз: в моем случае методистам было не о чем беспокоиться («Оба ее деда ушли в мир иной по объективным, не зависевшим от их собственных сограждан, причинам. Да и с бабушками в общих чертах понятно», – я слышу их бензиновые голоса), но их, потирающих нечистые ручонки в надежде на хитрый замысел, ждало разочарование. Говоря по-нынешнему: облом.

Почему? Да по кочану. А если всерьез, если отложить *овощную* картонку: в те далекие времена – сестра родилась позже – моя семья состояла отнюдь не из трех человек. Была еще одна бабушка, которая (чурики-фурики, военная хитрость!) только называлась бабушкой. На самом деле доводясь мне прабабушкой с маминой стороны.

Евдокия Тимофеевна. Девичья фамилия Гладкова. По мужу – Копусова. Год рождения 1885. (И подумать-то страшно – не то что себе представить: позапрошлый век.)

Но тональность повествования меняется не только из уважения к этой дате, а еще и потому, что, рассказывая о прабабушкиной жизни, я – по большей части – буду полагаться не на свою, а на мамину память: опосредованную, доставшуюся мне в качестве семейного наследства, небогатого, хотя... Как посмотреть. Ведь оно, в отличие от круглых банковских счетов других, куда более удачливых семейств, обладает свойством сугубой уникальности.

И тут мы вплотную подступаем к вопросу о правдивости чужих воспоминаний, которую они обретают (или теряют) в переложении на язык нынешней, неведомой их носителям эпохи – иной исторический язык. В свою очередь это означает, что качество перевода обречено остаться под вопросом: нам, переводчикам, своевольно отбирающим и тасующим факты, приходится действовать на свой страх и риск.

Именно поэтому, прежде чем воспользоваться их памятью, я обращаюсь к своей.

Тонкие черты лица. На моей памяти уже покрытые морщинами. Небесно-голубой оттенок радужной оболочки. Когда бабушка Дуня задумывалась, она складывала руки на коленях. Так я их и запомнила: крест-накрест, одна на другой. Правое запястье слегка искривлено: след закрытого перелома. Задумываясь, я складываю руки таким же точно образом: привет вейсма-нистам-морганистам. Но почему мое правое запястье при этом тоже слегка кривится? Кому – неужто Лысенке – следует передать привет?

Темное сатиновое платье в мелкий цветочек. Как принято говорить, старушечьей расцветки. В отличие от картонной бабушки, носившей аккуратно-жиденькую кичку, голова покрыта белым платком с тонкой, едва заметной каймой (эти платки продавались не по отдельности, а цельноткаными купонами – прежде чем покрывать голову, надо было разрезать и подрубить). Узел под подбородком, мягкие аккуратные заломы на висках. Если судить по внешнему облику, никаких иностранных аналогов. На обороте этой карточки значится: *babushka* – на всех без исключения языках.

Другое дело, что русские *babushki* носят передники. Но передника я как раз таки не помню. Зато могу проследить еще одно отличие от бабушки с картонки. *Та* наверняка была у мамы на подхвате. А моя бабушка Дуня – нет. Разве что перед праздниками. Да и то с разбором. Могла, например, испечь куличи. Или жаворонков с глазами-изюминками. Или – в будни – сварит гречневую кашу и упрячет чугунок под подушку. Та-то, картонная, небось, не вылезала из кухни: жарила, парила, варила. Впрочем, что мне до нее! У меня была своя бабушка. Которая не имела ничего общего с правильной, советской, во всех ее – расставим точки над *i* – существительных-испостасях: ни с картонной бабушкой, ни с самой властью.

Чтобы в дальнейшем не возникло лишних вопросов: никаких дворянских корней и прочих благоглупостей, модных по теперешним временам. Из простой крестьянской семьи. Ее мать (мамина прабабушка), Федора Ивановна, застала крепостное право в том смысле, что сама из крепостных. Семья жила в деревне под Калязином. На конвертах так и писали: город Калязин, деревня Горбово. Бабушкиного отца (мамино прадеда) звали Тимофей. Отчество неизвестно – эта карточка потеряна, вместо нее в маминой памяти зияет пробел.

Однако крестьянами (в прямом значении слова, подразумевающим обработку собственного земельного надела, а раньше еще и барского; молебны о ниспослании дождя, опаживание села как средство от моровых поветрий и прочие обряды, из века в век формировавшие крестьянское сознание) они никогда не были.

Вся деревня испокон веку – ремесленники. Валяли валенки. В свое время от их почтенного ремесла перепало и мне. В детстве, в отличие от сверстников, я носила не черные – магазинные (бабушка звала их *колодками*), – а сливочно-белые, из пуховой шерсти, такие мягкие, что легко гнулись хоть в щиколотках, хоть в голенищах. Свойство не лишнее и в городских условиях – тот, кто любил кататься с горки, меня поймет.

В семье было шестеро детей. Сергей, Мария, Любовь; за ними Иван и Евдокия. (Через семьдесят два года она и станет моей прабабушкой. А ее брат-близнец погибнет на войне. Кстати, слово «мировая» бабушка Дуня всегда упускала. Для нее та война была просто «Первой».) И наконец – Анна⁵. Анну бабушка нянчила, а потом с нею дружила. Время от времени, даже на моей памяти, навещала. Пока оставалась в силах.

Вот, собственно, и весь набор карточек, относящихся к картонке *прабабушкина семья*. Из этого набора – если опять-таки не особенно углубляться в тему – следует, что революцию 1917 года большевики делали в расчете и на них.

⁵ То, что все дети выжили (при общероссийской-то чудовищной детской смертности) – еще один весомый аргумент в защиту ремесел против черного крестьянского труда.

Когда смотришь в лица русских крестьян, какими они сохранились на старых архивных фотографиях, первое, что бросается в глаза: следы тяжкого труда. Сила этой тяготы, кажется, не зависит от возраста. Ее след проступает даже в лицах детей. Видимо, так выходила наружу многовековая – из поколения в поколение – зависимость от замкнутого годового цикла, в котором жизнь определялась милостями природы, а смерть – ее же немилостями: засухой, падежом скота, неурожаем – эти напасти шли по разряду обыкновенных. Но случались и экстремальные: «моровая язва», «моровое поветрие», «повальная болезнь». Эти общие напряженные страхи, пронизывающие жизнь от рождения до могилы, накладывали неизбывную печать на лица, сводя на нет их индивидуальные особенности; стирая врожденную красоту.

В лице бабушки Дуни следов крестьянской мрачности не найти. Прибавьте к этому правильный русский язык. Никакого тверского говора (разве что иногда, коротким промельком: «Устала, руки не владают», или «Зáдохлостью пахнет», – это если в комнате душно). И все-таки сквозь ее грамотную речь – подобно тому как языческие обряды проступают из-под покрова христианских праздников – просвечивала мудрость ее далеких предков. Не тронутая ни безысходностью крестьянской жизни, ни советским растрепанием. Во всей своей нравственной красоте.

Отблески бабушкиной мудрости падали и на меня.

Люди не воробы – в одно перо не уродятся. Лучше с умным потерять, чем с дураком найти. Что народилось, то и вырастет. Другой головы не приставишь. Не бывать калине малиной. (Читатель уж ждет хрестоматийного яблочка, но этого фрукта в бабушкином репертуаре не было: не иначе, тверские яблоки падают от родных своих яблонь далеко.) И венцом народной мудрости – сказанной не в воздух, в качестве тихого, но непреклонного комментария к текущим событиям, – а мне лично (потому и ставлю ее слова в твердые кавычки): «Молчи – за умную сойдешь».

Легко заметить, что максимы, которые бабушка Дуня отобрала для себя из всего безбрежного корпуса русских пословиц и поговорок, касались одной темы: врожденных свойств человеческой натуры. Которую не перебить, не переиначить воспитанием. Даже в этом частном вопросе они с эталонной советской бабушкой не нашли бы общего языка. Не имея понятия ни о каких, бес их знает, генах, бабушка Дуня оставалась стихийным вейсманистом-морганистом. Что касается других, истинно народных тематических рубрик, как то: правда, справедливость или, на худой конец, семейный достаток – их в бабушкином арсенале не было. И, полагаю, не случайно. Ее жизненный опыт предоставил ей неисчислимое множество поводов усомниться в их истинности (рискуя наскучить навязчивым сравнением: в отличие от картонной бабушки).

Достойно удивления и то, что ее призывы к молчанию, обращенные ко мне, не имели под собой грубой политической подкладки. Ум бабушка Дуня трактовала не столько как сугубую осмотрительность и осторожность: держи-де язык за зубами, болтливость – опасная привычка, доводящая до беды. А в ином, я сказала бы, универсальном духе, не замутненном вульгарным советским опытом (дерзну назвать его – не опыт, а дух – космополитическим): с точки зрения бабушки, глупость, означающая необразованность, пустоту мысли и зависимость от чужого мнения – незрелого или в разной степени ангажированного, – выходит наружу с болтовней.

Не стану грешить против истины, утверждая, будто в ней самой была какая-то особая величавость или внутренняя сосредоточенность, будто каждую минуту она властвовала над своими мыслями, но – было, было что-то другое, особенное, что и в наши дни дается не всякому, проживи он долгую и трудную жизнь.

В согласии со своими убеждениями, бабушка говорила мало. Почти никогда в присутствии посторонних. Каковыми считала всех, кроме мамы и меня. Позже – и сестры. Даже с моим отцом, которого несомненно уважала (до такой степени, что постеснялась настоять на

нашем крещении – раз уж сложилось так, что отец ее правнучек коммунист и еврей⁶), она предпочитала хранить молчание. И вообще разговаривала тихо, в отличие от мамы редко повышая голос. Хотя не меньше мамино осуждала всякое безделье и баловство. Такое, недостойное, поведение решительно ею пресекалось. Однако не обычным взрослым много- и пустословием. Бабушка ругала коротко, как припечатывала: «кобылой дурдинской» или «ведьмой киевской». Загадочная емкость этих ругательств, отвечая законам художественного слова, процессу воспитания только способствовала, многократно усиливая эффект. (Подлинное, контекстное, значение этих устойчивых выражений, открывшись мне по прошествии лет, ничего им не добавило.)

Стратегия молчания, которую она для себя выбрала, таила в себе разные возможности. В частности, позволяла *смотреть*. На жизнь бабушка Дуня смотрела внимательно и осмысленно. Много примечая и делая выводы. Но оставляя их при себе.

До последних дней ее взгляд оставался ясным, а выражение лица – «городским».

Хотя, если говорить строго, первым «горожанином» из всей многочисленной бабушкиной родни стал ее старший брат Сергей, задолго до всех революций (судя по всему, в девятых годах теперь уже позапрошлого, девятнадцатого, века) покинувший родную деревню, чтобы вы- учиться на портного и закройщика. И не где-нибудь, положим, в родной Твери, а в далеком Петербурге. Здесь, в Петербурге, он закончил специальные «закройные курсы», да не абы как, спустя рукава, а с полновесной золотой медалью – в те годы медали еще отливали, а не золотили. (В отличие от даты его отъезда, о медали известно доподлинно: гордая память о ней передавалась из поколения в поколение, пока не дошла до меня.)

⁶ Быть может, ее Бог, родившийся и выросший в деревне, был тихим и нетребовательным, в кухонные дела не вмешивался, знай себе поглядывал с иконки, висевший над ее изголовьем; или, подобно Духу, витавшему над доисторической бездной, веял себе за окном.

III

С исторической точки зрения – маятник семейной истории, качнувшись в сторону «частного», устремляется в обратном направлении – его решение не выглядит чем-то особенным. В тот короткий, но емкий период времени российская промышленность (после многодесятилетнего застоя, связанного с затянувшимся крепостничеством) переживала доселе небывалый подъем. Этот промежуток: от середины 1880-х до середины 1890-х – впоследствии названный «золотым десятилетием» – заложил основу всех дальнейших российских достижений. Апофеоз пришелся на 1913 год – сакральная дата, с которой государство рабочих и крестьян невротно соотносило свои собственные достижения, налегая на выплавку *стали и чугуна*. Многие из моих соотечественников до сих пор убеждены в том, что эта навязшая в зубах парочка – в пересчете на душу загнанного в нищету населения – оправдывает чудовищные жертвы, которые «лапотная Россия» принесла на алтарь развития промышленности. Эту горбатую идеологию – даже могила СССР не в силах ее исправить – развенчивает история моей семьи.

Но вернемся к «большой истории». К концу XIX века система российского капитализма в общих чертах уже оформилась. Ключевые отрасли хозяйства (как то: тяжелая промышленность, банковское дело, строительство и развитие железнодорожного транспорта) государство держало в своих руках – то погоняя, то натягивая вожжи. Однако в мелкопроизводственную сферу не вмешивалось. Кустари-ремесленники, имевшие амбиции, могли воспользоваться дарованной свободой. Что, собственно, и сделал Сергей Тимофеевич, бабушкин старший брат.

И все-таки нечто особенное, выходящее за рамки прямой экономической логики, в его решении есть. Ведь, если следовать этой логике, он, ступив на поле капитализма, должен был, не мудрствуя лукаво, вывести на новый производственный уровень семейное – валяльное – ремесло. Но предпочел иную стезю: портного-закройщика. Что, как я полагаю, диктовалось врожденным талантом. Время, выпавшее на его долю, позволяло этот талант развивать.

Так или иначе, Сергей стал первым (в родной деревне, в семье), кто почувствовал дух времени, преодолевающего великий исторический перевал. За этим трудным, воистину горбатым, перевалом неосмысленная работа (труд как средство физического выживания), обретала иной, системный, смысл: становилась жизненной стратегией, которую Сергей Тимофеевич строил для себя и без оглядки на семейные, архаические, ценности. Но его – в духе «нового» времени – выбор (чиркнув по правому краю воображаемого бортика, наш маятник Фуко устремляется обратно – к левому), определил и бабушкину судьбу. Сама она вряд ли бы на это решилась – попытаться счастья в столице: уехать, но не за братом, проторившим дорогу в Питер, а на заработки в Москву.

С крестьянской точки зрения, что в лоб, что по лбу. Хоть в Москве, хоть в Питере, деревенские, перебравшись в город, становились фабрично-заводскими рабочими. Вливались в ряды пролетариата – во всяком случае, в своем большинстве. Но в том-то и дело, что мне не представить бабушку в этих пролетарских рядах. Впрочем, свойства ее характера, на которых основано мое ретроспективное утверждение, в те годы еще не сложились. Пришлось вмешаться судьбе. Чтобы раз и навсегда отвести свою подопечную от неведомой мне фабрики, куда бабушка поступила немедленно по приезду, судьба подстроила ей серьезную пакость: поставила не на вспомогательные операции, подай-поднеси, а непосредственно к станку.

Это мельницы христианского Бога мелют медленно. Фортуна – богиня языческая. Посему развязка не заставила себя ждать. Ровнехонько через месяц, сунув руку куда не следует (сама она – данью тверскому прошлому – говорила: «куда не след»), новоиспеченная работница сломала правое запястье. Гипс на закрытый перелом накладывал фабричный доктор –

судя по всему, тот еще Гиппократ. Но замысел судьбы он воплотил с завидной профессиональной точностью: как наложил, так и срослось⁷.

В общем, о фабрике пришлось забыть. Что ожидало мою юную прабабушку, не прояви судьба жестокого милосердия? Учитывая год ее рождения – к началу двадцатых ей было бы слегка за тридцать, – красную комсомольскую косынку можно заведомо исключить. Надеюсь, что и строгую партийную кичку – в духе Н. К. Крупской. Хотя и то и другое из области гаданий. Достоверность же такова: после фабричного фальстарта бабушки-Дунина жизнь коренным образом изменилась. Она устроилась горничной в графскую семью.

Глядя с большевистской колокольни, ее выбор можно назвать чечевичной похлебкой, за которую она уступила свое крестьянско-пролетарское первородство. Но, в отличие от библейского Иакова, бабушка вряд ли об этом пожалела.

О раннем периоде своей городской жизни она рассказывала скупое. Если следовать прерывистой канве ее рассказов, жизнь в графском доме выглядела примерно так. В рабочее время она прислуживала графине. В свободное занималась рукоделием: вышивала, преимущественно бисером. Кроме того, шила тонкое белье. Трудно сказать, где она обрела навыки белошвейного рукоделия. Не исключено, что, по примеру старшего брата, окончила специальные курсы. И, видимо, успешно. Графиня во всяком случае предпочитала ее изделия французским. Но наладившееся было импортозамещение продлилось недолго. Вскоре графиня умерла. А Евдокия осталась в графском доме.

Замечу кстати, что верхнее платье бабушка Дуня тоже шила, однако не для хозяйских нужд. Сама я этого уже не застала, но знаю со слов мамы: без машинки, маленькими аккуратными стежками; и раскраивала она без выкроек, на глазок. Теперь это кажется странным, но до революции так шили многие: изделие, собранное на живую нитку, подгонялось по фигуре с помощью портновских булавок.

То, дореволюционное время бабушка именovala «царским». С некоторыми его особенностями я познакомилась еще в детстве. Какими бы скучными ни были бабушкины рассказы, в них нет-нет да мелькали отдельные колоритные детали: конфетные коробки, куда – наряду с самими конфетами (каждый конфетный слой переложен белой папиросной бумагой) – непременно вкладывались серебряные щипчики: не брать же, в самом деле, рукой! Или длинные, по локоть, перчатки; или вышитые – белым мулине по белому же шелку – бальные туфельки на гладкой телячьей подошве. Естественно, без каблука.

Может сложиться впечатление, будто набор частных, застрявших в бабушкиной памяти, определился кругом прямых служебных обязанностей, за границы которого горничная не заступает. Однако это – скоропалительный вывод. Ведь есть и другие детали. Каждая из них в той или иной степени поддается объяснению. Но взятые в совокупности – с трудом.

И тут история моей семьи ступает на тонкий лед. Чтобы проделать этот отрезок пути, не поскользнувшись, начну издалека.

Капитолина, бабушки-Дунина старшая дочь (собственно, моя бабушка) родилась в 1911 году. По прошествии короткого времени молодая мать оправляет новорожденную в деревню, где та – под присмотром своей бабушки, Федоры Ивановны – воспитывается до одиннадцати (по другим свидетельствам – до двенадцати) лет. С позиций тогдашнего семейного кодекса это может иметь двоякое объяснение. Первое и очевидное: ребенок рожден вне брака. Но, положим, дело все-таки в работе, которую бабушка Дуня боялась потерять.

⁷ По праву свободной аналогии мне вспоминается другая история: Иакова, внука Авраама, родоначальника «двенадцати колен». Как известно, этот библейский персонаж, покинув отчий дом, сражается с Богом; по другим источникам – с ангелом. Однако в Книге противник Иакова назван уклончиво: «некто» – определение как нельзя лучше подходящее Истории и Судьбе. Результатом битвы, из которой никто не вышел победителем, но и побежденным ни один не остался, стало сломанное бедро. Повреждением конечностей символические (для меня) совпадения не исчерпываются: ведь подобно Иакову, имевшему брата Исава, бабушка, имевшая брата Ивана, тоже из близнецов.

Младшая, Раиса, родилась незадолго до революции. Точная дата неизвестна: вроде бы в 1917-м. Так или иначе, в деревню ее не отправили. Но речь уже не о деревне, а о том, что в нашей семейной хронике эти два исторически не сопоставимых события – революция и рождение младенца – объединяет тема «голода».

Здесь следует заметить, что Петербург, столица Российской империи, никогда не голодал. Первые перебои с продовольствием начались уже в Петрограде. Как нетрудно догадаться, в связи с затянувшейся войной. Растущие цены на хлеб побуждали производителей этот товар «придерживать» – в надежде на дальнейший, еще более существенный, рост. Да и сметливые купцы-оптовики (кому война – кому мать родна), хрустя аппетитными французскими булками, не спешили пронести свою выгоду мимо рта. Количество переходило в качество постепенно. Страна уже балансировала над пропастью, но заинтересованным, а главное, влиятельным лицам все еще казалось: Бог не выдаст, свинья не съест, прадеды-отцы устояли, глядишь, и нас пронесет.

Голодный колокол грянул к исходу 1916-го. Той, предреволюционной, зимой рыночная система снабжения – казалось, давно и прочно устоявшаяся, – начала стремительно и неуклонно разваливаться. Осознав наконец серьезность положения, правительство попыталось организовать продразверстку по твердым ценам. Что – подобно многим другим «царским» начинаниям – завершилось полным провалом.

При этом сами по себе перебои с продовольствием причиной Февральской революции назвать нельзя. Тем более что хлеб в Петрограде был; городские власти (фатально не отличавшие запасов хлеба от запасов прочности политической системы) даже оценивали его запасы как «достаточные». Но когда в последних числах февраля сработали все предпосылки в совокупности, спусковым крючком стал именно хлеб.

Первые яростные призывы к бунту раздались в бесконечных хлебных очередях, тогдашнему – «хвостах». Никто еще не догадывался, что это еще не голод, а полголода: настоящий, смертный разыграется позже, когда австро-германская оккупация Украины и части Северного Кавказа – плюс Гражданская война от Поволжья до Урала – оставят под контролем большевиков территории, дававшие прежней России 10 % товарного хлеба.

Цифра, равная беспросветности. Особенно если вспомнить, что и раньше, в «царское время», деревня голодала: в годы тотальных неурожаев крестьяне ели хлеб с лебедой. Но и лебеда не спасала. «Дурная боль» – крестьянское наименование голода – сводила с лица земли целые деревни. Выжившие, называвшие себя «нежелателями», устремлялись в города. Путь к спасению преграждали жандармско-казацкие заставы. Эти заставы бабушка Дуня именovala «рогатками».

Те, кому правдами-неправдами удавалось за рогатки перебраться, собственно, и становились горожанами, вливаясь в городской пролетариат. Им, спасенным, было с чем сравнивать. За проходными фабриками и заводами их, по крайней мере, ожидала сытость. Иными словами, городская жизнь – при всех тяготах наемного труда – размыкала тяжкие цепи: освобождала от колодок беспросветной крестьянской судьбы.

«Царские» зарплаты и городские цены бабушка Дуня помнила. В переводе с ее разговорного: «Кто работал, тот не голодал», – на сухой язык цифр средние дневные зарплаты таковы: квалифицированный столичный рабочий получал не менее пяти рублей; чернорабочий – трех. При том что фунт черного хлеба стоил 5 копеек, говядины – 40, сливочного масла – 50⁸. Учитывая, что в январе семнадцатого года большинство основных продуктов питания все еще в свободной продаже, трудно понять, почему Российскую империю «сотряс» именно хлеб?

⁸ Кстати, деревенские цены она тоже помнила: например, корова – в зависимости от молочной продуктивности и прочих важных качеств – стоила от 3 до 5 рублей.

Объяснения даются самые разные: от тлетворного влияния революционных партий до возросшего уровня потребления (умирающим-де от голода не до социальных революций). Но бабушка рассуждала по-другому. Если перефразировать ее рассуждения: для крестьянской России «хлеб» – понятие сакральное, выходящее за рамки того, что принято называть «едой». Он – основа существования; главное «лекарство» от «дурной боли». Мало-помалу обживаясь в городе, недавние крестьяне (моя мысль следует за бабушкиной) привыкали к тому, что голод остался в прошлом. Им верилось: навсегда. Эту-то уверенность и разрушили булочные и хлебные лавки, пустив «хвосты».

Фотографии тех, зимних, месяцев сохранили их лица – лица горожан в первом поколении. Не надо особенно вглядываться, чтобы понять: куда бы эти люди теперь ни смотрят, пусть даже в фотографическую коробку-камеру, на самом деле они глядят назад. В их глазах – словно историческое время, дав «хлебный» сбой, пошло в обратную сторону – стоит крестьянское прошлое, от которого они чаяли избавиться, перебравшись в города.

Крестьянская родовая память сродни угрюмой растерянности.

Раньше они знали твердо: как, в случае чего, надо действовать – вековые рецепты борьбы с «дурной болью» языческое сознание усвоило прочно и глубоко.

Первым долгом: опахать хлебное поле.

В этом обряде (русская провинциальная глубинка практиковала его вплоть до конца 1930-х) участвуют исключительно женщины – затесавшемуся в женские ряды мужику грозит немедленная расправа. Важен и подбор участниц: в опахивальщицы берут далеко не всех. Главный критерий – отрицательная плодовитость. Соху (впрягшись на манер лошади, ее следует протащить границей хлебного поля) доверяют девицам, включая «девок, решившихся нейти замуж»; солдаткам и вдовам.

Летом 1918 года моя – уже вдовствующая – прабабушка этому критерию соответствует. Но впрягаться во что бы то ни было, а тем более в хлебные хвосты она не торопится. С годовалым ребенком на руках бежит в деревню. Однако не в Тверскую губернию, где вся ее родня, включая старшую дочь Капитолину. А под Саратов. Как сама она потом говорила: в глухомань. (Где, по прошествии малого срока, девочка Рая умерла.)

Выбор по меньшей мере странный. Тем более что ее родная деревня Горбово ни теперь, ни прежде не голодала, ибо не зависела от неурожаев, живя ремеслом. Быть может, решала не она? Знать бы, в каких краях находилось графское имение...

И тут впору задаться вопросом: а, собственно, когда она стала вдовой?

О своем недолгом замужестве бабушка Дуня вспоминала коротко: «Мой муж – солдат». Из этого – если сопоставить даты «похабного» Брестского мира и рождения ее младшей дочери – следует, что осенью 1916 года отец Райсы приезжал на побывку. Но, согласно документам, Яков Копусов, призванный на фронт в самом начале Первой мировой (с тогдашних высоких трибун ее называли Второй Отечественной, меж собой – Германской), погиб в том же, когда его и призвали, четырнадцатом году.

Ну, положим, в похоронные документы закралась ошибка. Более или менее представляя себе бардак, царивший в прифронтовой полосе, этого нельзя исключать. Но что делать с квартирой, принадлежавшей бабушке на правах частной собственности? Конечно, не в дорогом аристократическом районе, вроде Английского проспекта, где семья бабушкиного графа занимала целый этаж (чтобы покончить с графскими адресами: переехав в Петербург из Москвы, они на первых порах сняли дом на Невском; сюда, на Английский проспект, переехали позже), – но ведь и не на выселках вроде Васильевского острова, Коломны или каких-нибудь Рождественских улиц, где по моим представлениям должны были селиться семьи солдат.

Отдельная трехкомнатная квартира на Забалканском, 18 (нынешнем Московском) в двух кварталах от Сенной площади – даже по нынешним временам это *звучит*. А тогда, до революции, и подавно. Особенно если вспомнить, что Петербург – не Москва, где в собственниках

состояло едва ли не большинство городского населения. Здесь, в Петербурге, было принято снимать квартиры. Тогда говорили: нанимать. Форма найма зависела от имущественного положения съемщика. Встречались экономные семьи, въезжавшие в городскую квартиру с осени, чтобы к лету съехать и коротать жаркие месяцы на даче. Были, однако, и те, кто превращал нанятую жилплощадь в дополнительный источник дохода, сдавая «лишние» комнаты жильцам.

Кстати говоря, надежного заработка арендодателя бабушка тоже не чуралась.

Первые годы замужества (и это известно достоверно) она провела на съемной квартире, во втором этаже дворового флигеля по адресу: Загородный проспект, 28 – на полпути от Звенигородской к Пяти углам. Свою же, просторную, сдавала студентам. Троице – по числу комнат. В эту квартиру на Забалканском, по дороге заехав в деревню за старшей дочерью, она вернулась в 1922 году.

К тому времени граф уже исчез. Уехал. Но, если верить дворнику, не в *Херсонскую губернию*, куда в те годы отправилось немало представителей эксплуататорских классов (дорога в херсонский край начиналась здесь же, поблизости, на Гороховой улице, в известном всем и каждому подвале). Однако чрезвычайных мер социального воздействия граф счастливо избежал. Угоди он в лапы «чрезвычайки», бабушка бы об этом знала. Ведь должна же она была, вернувшись из первой в своей жизни эвакуации, сходить на Английский проспект. Поговорить по старой памяти с *ихним* дворником.

Мне, исходившей Ленинград вдоль и поперек, не нужна карта, чтобы представить ее горький маршрут: сперва по Забалканскому до Фонтанки, потом по набережной и дальше, перейдя Английский мостик, в сторону Пряжки, минуя Екатерингофский и Офицерскую – отсюда до графского дома уже рукой подать.

Еще не зная бабушкиной истории, я ходила этой дорогой, всякий раз испытывая неизъяснимую грусть: словно оказывалась в печальной декорации давно прошедшей жизни, от которой ничего не осталось – кроме этих домов, подернутых ленинградской влагой, похожей на что угодно, кроме слез...

В 1922-м гопота уже не *гуляла*. Но, помня храбрых революционных матросов, громивших частные квартиры наперерыв с гопниками, дочь Капитолину она взяла с собой. (Через двадцать лет, в 1942-м, она снова возьмет за руку девочку, мою маму, и отправится в путь с той же самой целью: проверить, что случилось с теми, кого ей пришлось оставить волей-неволей.)

О чем думала девочка Капа, выросшая в деревне... Скорей всего просто шла, поглядывая по сторонам. Принимая все, что видит, за чистую монету. Значит, вон он какой, их хваленый Питер. *Огромный и пустой*. А говорили, будто тьма народу, ходят туда-сюда, ездят кто в каретах, кто на извозчиках, дамы в нарядных платьях, шеголяют, хвастают друг перед другом, дядя Сергей обещал, и мне такое сошьет, синее, кружевное по подолу, будто с картинки в модном журнале...

Вряд ли Евдокия обращала внимание на дочь. Шла, погруженная в себя. В ее памяти эти дома – живые: в них живут прежние хозяева. Семейные, одинокие. Днем они ходят по делам. Господа – в присутствии, их жены – по своим дамским надобностям, кухарки – на Сенной рынок за провизией, гувернантки с детьми – в ближайший, открытый для «чистой» публики, сад.

От размеренной «царской» жизни не осталось и следа. Город в прямом смысле обезлюдел. Вместо предреволюционных 2 400 000–700 тысяч. В отличие от меня, знающей голые цифры, она своими глазами видела эту пустоту... Но не только течение жизни – что-то нарушилось и в самих людях: нынешние, попадавшиеся навстречу, глядели мрачно и настороженно.

Они выходят на Английский проспект. В здешней местности у меня свои ориентиры: слева – на углу Офицерской и набережной Пряжки – дом, где в квартире на четвертом этаже все последние годы жил Александр Блок. Но она вряд ли слышала его имя. Хотя завсегда и графской гостиной наверняка цитировали то, знаменитое, написанное в далеком четырнадца-

том: *Рожденные в года глухие...* В 1922-м поэт уже год как умер – не от голода и даже не от сыпняка, – задохнулся в пухнувшей день ото дня густопсовой пролетарской свободе, приближение которой с энтузиазмом неопита приветствовал, еще ни сном ни духом не догадываясь: недалек тот день, когда Россия съест его *как глупая чушка своего поросенка* – о его горестной судьбе бабушка, понятно, не знала. А если б знала, как назвала бы этот мертвящий дух – *задохлотью*?

Наконец дошли. В мирные годы графский дом, построенный в стиле модерн, гляделся сущим барином. Теперь, одичав, он смотрит бирюком. Входная дверь забита. Парадной лестницей не пользуются. Новые жильцы привыкли ходить черной. Замок на воротах выломан. Чугунные створки – настезь.

«А эт-та кто ж у нас такая?»

Она узнает дворника по голосу. «Моя дочь. Капа... Капитолина... – отвечает машинально, косясь на кухонные окна: петербургские кухни, как правило, выходят во двор. – А... где?..»

«Барин-ти?» – дворник по-новому, по-плохому, усмехается. Раньше его семья ютилась здесь же, в подвале, теперь переехала в графский бельэтаж.

И то сказать – где он, тот граф! Нетути. И след евоный простыл...

При полном здравомыслии, которым бабушка всегда отличалась, вряд ли она надеялась повторить судьбу Полины Жемчуговой. Но фотографическую карточку хранила. В коробке из-под конфет, где лежали все ее документы. (Судя по ангелам на крышке, шоколад съели еще в «царское время».) Однажды я эту карточку видела. Всего одно мгновение – потому и не запомнила лица. Но помню контекст.

Накануне родители обсуждали, в кого я все-таки *пошла*. В этом схоластическом споре – мама настаивала, что в ее отца, – мы с бабушкой не участвовали, но, сидя за шкафом, слушали. (Этот посудный шкаф, поставленный поперек комнаты, играл роль пятой стены. Слева от него, окнами на Театральную площадь, жили мы с родителями. Бабушка Дуня – справа: окно ее выгороженной «комнатки» глядело во двор.)

На другое утро бабушка заплела мне косы, но умываться не отправила. Достала конфетную коробку. Открыла, вынула карточку.

«Знамо в кого».

Не слова – слова я пропустила бы мимо ушей (бабушка часто говорила непонятно), – а интонация, похожая на шлейф старинного бального платья. Бабушкин голос держал ее так, что ткань, расшитая бисером, не касалась земли. Завороженная этой воображаемой картинкой, я встала на цыпочки и прежде, чем она спрятала карточку в коробку, успела заглянуть.

Однако сопоставлять одно с другим и вообще *думать в эту сторону* я начала уже после ее смерти. По молодости лет (разве не интересно обнаружить в себе следы «благородной крови», пусть и не подтвержденные документально) – это волновало. Не зная ни имени, ни фамилии, я пыталась угадать его судьбу.

Единственное, что представлялось достоверным: унося ноги из Совдепии, беглый граф держал в голове Европу, о которой у него сохранились самые светлые воспоминания. Его путь мне неведом. Остается только гадать: с проводником через отпавшую от российского тела Финляндию, или сперва на Украину? А, может, и вовсе через Крым? Самому ему мнилось – ненадолго: месяца на три или, скажем, на шесть. Пока власть большевиков не растает яко воск от лица огня. Крайний срок – год.

Графское легкомыслие меня не удивляет. Родовая память – она ведь не только у крестьян. Благородным классам их память нашептывала: да, русский бунт бессмыслен и беспощаден. Но, к счастью, короток. Побунтуют-побунтуют и выдохнутся.

Вряд ли – в той исторической нервозности, которая людям его круга виделась предотъездной суетой и спешкой, – он нашел время взглянуться в лица горожан, замерзавших в хлеб-

ных «хвостах». Склониться к совету Блока, призывавшего слушать музыку революции. Да и что бы он в ней услышал? Сумбур.

Чем я могу его утешить... Тем, что его постигла не самая тяжкая участь? Даже в сравнении с бабушкиной: она-то осталась тянуть советскую лямку. Я уж молчу о тех, кого он почитал ровней. Ведь не я, а кто-то из них сказал: «Профукали Россию». Но у меня есть что добавить к этим горьким словам.

Раньше, господа, надо было чухаться. Не порхать по бальным залам в белых вышитых туфельках. Не надеялись бы на свое извечное, крепостное (мы-де – ваши отцы, вы – наши неразумные дети) – глядишь бы, и пронесло... Так я пеняла исчезнувшему графу, воображая нашу невозможную встречу: не поколений – цивилизаций. Тех, что до революции стояли на разных берегах.

Но теперь, когда я сама себе и графиня, и горничная, и портниха (прежде чем отправить себя на бал, собственноручно шью себе бальное платье, а могу и вышить, как то, школьное, выпускное), – мне больше неинтересна эта игра. Меня не проведешь на мякине «благородства» и прочей «голубой крови». И если однажды, из самых достоверных источников, я узнаю, что Яков Филимонович Копусов и вправду прикрыл венцом графские грехи, я скажу твердо, как моя прабабушка: «Ваши источники ненадежны. Мой прадед – солдат».

С Японской, на которой успел повоевать прежде, чем уйти на Германскую, Яков вернулся с трофеем – привез жене портновские ножницы. Черные, невероятной длины. В нашей семейной фуге они сыграли свою скромную партию: этими удобными ножницами, пока окончательно не затупились, я долгие годы кроила. Теперь они лежат в верхнем ящике комода. Там, где мой семейный архив.

Сохранились три бабушкиных фотографии. На первой, «царского» времени, она – молодая женщина лет двадцати. Чуть припухший, как свойственно юности, овал лица; светлые волосы разделены на прямой пробор и подняты узлом на затылке или (модель стоит анфас) убранны в косу; темная слегка расклешенная юбка в пол, талия перетянута широким поясом (горничной корсет не по чину); шелковая полосатая блузка с продольной планкой под застежку (судя по тому, как планка прилегает к полочке, флизелин еще не изобрели).



Глядя на бабушкины руки – левая кисть лежит на столике, правая касается спинки стула, – я узнаю в них свои.

На второй она уже с дочерью и зятем.

Вместо прежнего, «царского» интерьера, которым я любовалась в детстве (изящный столик о трех резных ножках, покрытый вышитой салфеткой – через много лет, обнаружив его подобие на ближайшей к дому помойке, я не удержалась, взяла его себе; букет цветов, на мой

взгляд искусственных; невнятная картина маслом в дубовой раме; складчатая занавеска, подхваченная витым шнуром, – сказать по правде, на «графский дом» это не похоже: слишком много навязчивых деталей, выдающих дешевую, мелкотравчатую имитацию), – вместо всего этого стул и голый столик.

Бабушка сидит.

Миновало четверть века. Ее молодость осталась в прошлом. Овал лица стал жестче. Черты суше и собраннее – девичья припухлость ушла. Она – зрелая женщина, на удивление элегантная – видимо, сказалась прежняя, петербургская, «закваска». Строгое темное платье, отделанное тесьмой, отдаленно (не фасоном, а общим видом) напоминающее стиль мадам Шанель. На мой взгляд портнихи с многолетним стажем, *глазком* и подгонкой дело не обошлось. Тут требуется выучка профессионального закройщика. Я бы не удивилась, узнав, что бабушкино платье – дело рук Сергея, ее старшего брата.



СССР, напротив, переживает бурную молодость: коллективизация в общих чертах уже завершилась, индустриализация разворачивается полным ходом. Вглядываясь в бабушки-Дунино лицо, я пытаюсь найти следы времени, но не личного, прошедшего в стороне от всех «великих свершений», а общего, о котором по сию пору ведутся яростные споры (нам, болтливым потомкам, досталась в наследство расколотая страна). В зависимости от того, чья сто-

рона получает позиционное преимущество, характеристики времени разнятся: в диапазоне от небывалого энтузиазма до невиданного страха.

Глядя на бабушкину фотографию, ни того ни другого я не нахожу. В ее глазах сдержанное достоинство. Ему соответствует платье, пошитое строго по фигуре (не какой-нибудь колхозный *спинжак* с подкладными плечами). Но главное – спина. Не деревянная, как на старых крестьянских фотографиях (в народе говорят: будто аршин проглотил), а именно ровная. В том, как бабушка держит спину, видна укоренившаяся привычка к независимости. Рискну сказать: к свободной жизни. По тем временам уже беззаконная.

НЭП доживает последние дни; «Дело Промпартии» уже шьется. Но что ожидает страну в ближайшем будущем, этого не знает никто. Даже граждане с университетскими дипломами, привыкшие ловить, а вернее, подлавливать пролетарскую власть на тактических противоречиях: дескать, расстрел царской семьи уравнивается философским пароходом, да и НЭП – его ведь тоже не сбросишь со счетов.

Как во всем этом смогла разобраться женщина, закончившая три класса церковно-приходской школы... Причем не тогда, когда уже жжет пятки, а лет за десять до пылающих, именем инквизиторской власти, костров. Но факт остается фактом: она поняла. И, осознав, к чему клонится дело, приняла контрмеры.

Задолго до того, как эта новая власть превратила самозахваты жилплощади в стройную и по-своему эффективную политику «уплотнения», бабушка, распознав за ней грядущую государственную многоходовку, сыграла на опережение. Не дожидаясь, пока в две (из трех ее изолированных комнат) поделят кого ни попадя («Маню с трудоднями», – так она говаривала уже на моей памяти, высокомерно путаясь в советских реалиях), уплотнилась сама, пригласив к себе заведомых, в глазах власти, еретиков, по-тогдашнему «лишенцев», которых злокозненная пролетарская справедливость согнала с насиженных мест, лишив своего угла. (Прикидывая это решение на себя, я восхищаюсь бабушкиной решимостью: я-то наверняка бы промедлила – а вдруг само рассосется. Ну и дождалась бы: за стенкой стукача.)

Второй шаг стратегии, которую, вернувшись в Петроград, она для себя выработала, – подходящая работа. Бабушка устроилась в больницу Коняшина. Нянечкой в приемный покой. (Кстати сказать, слово «хочалочка» я узнала не от нее, а от Галича.)

Кроме прямых служебных обязанностей (благо, нехитрых: принять от больного его собственную одежду, выдать взамен казенную и, если ходячий, проводить), было и общественное поручение: в рабочее время бабушка ходила за тканями. Выстаивала длинные очереди. Тканями она обеспечивала всех сотрудников приемного покоя: врачей, санитарок, медсестер.

Работа нянечки позволяла экономить. В дни дежурств бабушка питалась в больнице. Кормили хорошо, накладывали большие порции. Что не доедала, забирала домой. Дополнительная статья экономии: постельное белье. Как рассказывает мама, «бабушка пользовалась больничным. За ней всегда числился комплект. Грязное она приносила обратно, меняла на чистое. Мылась она тоже в больнице», – дома, на Забалканском, нет горячей воды.

Может сложиться впечатление, будто, рассуждая о сознательно выбранной стратегии, я выдаю желаемое за действительное. В то время как особых ее заслуг нет. И вообще, уже если такая умная, почему так бездарно распорядилась своим умом. Ну пусть не бездарно. Неблагоразумно. Три церковно-приходских класса? Так другие и вовсе начинали с нуля. Заканчивали курсы ликбеза. Но не останавливались на достигнутом, а, как тогда говорили, *тянулись*. Некоторые, особо упорные, дотягивались до института Красной профессуры⁹. Другие благоразумицы, бог с ними, с институтами, создавали крепкую семью. Вот и ей бы. Тем более Иван

⁹ Авторефераты докторских диссертаций этих светильников разума мне доводилось читать. В мое время их «научные выводы» казались смешными. Однако старорежимным профессорам, которых они постепенно вытесняли (в лучшем случае «за штат», в худшем – на нары, а то и подводили под расстрел), было не до смеха.

Леонтьевич Превалов, мамин крестный, до войны работавший в «Метрополе» (не то шеф-поваром, не то метрдотелем – этого его крестница не помнит), не раз и не два делал предложение. По крайней мере питалась бы по-человечески, не казенной, а ресторанной пищей.

На этот вопрос у меня нет внятного ответа. Мне не примерить ее опыт на себя. Бабушка жила в другую эпоху, когда время, встав на этот скорбный путь во дни революции, катилось вспять. На нем, словно на лицах горожан в первом поколении, лежала густая тень. Осененная этой тенью, страна погружалась в новое Средневековье. Все быстрее и быстрее, час от часу, год от года – вопреки оптимистическим заветам: «Время, вперед!»

Это для нас их будущее стало прошлым. Вот мы и слышим метроном времени, ведущий обратный отсчет.

Под звуки этого метронома я думаю о ее дружбе с «бывшими» – в это понятие она вкладывала не государственный, а свой личный смысл: те, кому революция переломила суставы жизни; отняла – даже не скромную собственность (не дворцы или, скажем, особняки), а все, что они сами считали нормальным человеческим существованием. Разрезала по живому. Как языческий плуг, «опахивающий» деревню: будто они – жалкие полевые цветы, на чьи корни революционный плуг не обращает внимания, когда походя режет их и рвет.

Быть может, именно потому, что не чувствовала укорененности в новой, пролетарской, эпохе, бабушка нас не воспитывала. Скорее, учила. Дочь Капитолину – терпению. Внучку Веру – нормальной человеческой жизни, не похожей на ту, какую ее внучка (моя будущая мама) видела окрест себя. Чтобы продолжить эту цепочку поколений, я должна вспомнить, чему она учила меня.

IV

На третьей, последней, фотографии мы вдвоем. Бабушке Дуне семьдесят пять (прошло еще четверть века). Мне – четыре, и я уже умею читать. О чем свидетельствует раскрытая книга, с которой мне не расстаться. Но читать меня учила не бабушка, а отец.

Вечерами, когда он разворачивал газету (как сейчас помню, «Известия»), я, подсев поближе и тыча пальцем в заголовки, канючила: ну скажи, какая буква, скажи... На первых порах он отвечал машинально, но потом, видно, удивившись настырности, с какой трехлетнее существо рвется в грамотеи, принялся писать на листочке из блокнота. Сперва вразброс, потом в строгой алфавитной последовательности: от «А» до «Я». Как складывать буквы в слова, я сообразила сама. Через год, обнаружив, что я худо-бедно читаю, мама решила записать меня в кружок английского языка, одновременно – каши маслом не испортишь – купив языковое лото. Против лото бабушка не возражала, но к затее с кружком отнеслась скептически: «Чему надо – выучится. Успеет».

Собственно, по-бабушкиному и вышло. При том что учили меня многому, мои главные умения: складывать слова и шить. Шить я начала лет с шести. Улучив момент, когда в комнате никого не было, села за машинку и, крутанув боковое колесо, проложила первую в своей жизни строчку.

Хочется сказать: строку.

Но еще раньше бабушка научила меня штопать. Следила, чтобы я работала медленно и аккуратно: нить за нитью, вверх-вниз, изнанка-лицо. Не прощала ни малейшей небрежности. Чуть что, заставляла переделывать. Будто на моем «грибке» не рваный носок, а нечто неизмеримо большее. Положим, прореха во времени. Которую надо не залатать, наложив грубую заплату, а медленно и аккуратно заштопать.

Вверх-вниз, с лица на изнанку, с изнанки на лицо.

Теперь, по прошествии десятилетий, я могу сказать, что в основе моей жизни лежат разные нити. Но именно бабушка Дуня, не отдавая себе в этом отчета, проложила ту, единственную, держась за которую, я – уже после ее смерти – выбралась из лабиринта советской жизни.

В тот день мы шли к Никольскому собору. Помню, бабушка остановилась. «Пожить бы еще лет двадцать...» На что я – нет бы за умную сойти – ляпнула: «Зачем? Ты и так старенькая». Теперь-то я уверена: бабушка разговаривала не со мной, но поняла меня правильно: «Поглядеть, чем дело закончится. У большевиков». И, не дожидаясь встречного вопроса (который вертелся у меня на языке – в то время я и понятия не имела, кто такие эти большевики), ответила: «Разворуют царское и сгинут».

Черт с ними, с большевиками. Я не о них. И даже не об уме. Кто из умников – тогда, в в начале шестидесятых, когда случился этот разговор (который я запомнила, не поняв ни слова), – мог такое предположить?

Единственное, в чем бабушка ошиблась, – в сроках. В начале девяностых нам казалось, лет на десять. На этом шатком основании мы возомнили себя победителями. А с другой стороны, история-то не закончилась. Так что, почем знать...

В 1930-м, после замужества дочери, бабушка осталась одна. Одиночество ее не тяготило. Скорее, наоборот. И раньше не особо хлопоча по хозяйству, теперь она и вовсе не заморачивалась.

Что вовсе не означает, будто в вопросах питания бабушка была не переборчива, или хуже того, всеядна: ела, что Бог послал. К божьему пайку она всегда добавляла. Свежие фрукты с рынка (в те годы фрукты считались барством, их и в магазины не завозили – кроме, кажется, мандаринов к Новому году); шоколадные конфеты; хороший крепкий чай. Чаевничала она

по всем правилам: скатерть, тонкая фарфоровая чашка (от «царского» времени сохранились два сервиза: с японками и с незабудками), серебряные щипчики. Сахар бабушка признавала исключительно колотый. Конфеты разрезала на мелкие кусочки. Чтобы пить вприкуску. Не дай Господь – с песком!

Через год у нее родилась внучка. Моя будущая мама.

Родильное отделение больницы Коняшина находилось по соседству – в одном из корпусов Новодевичьего монастыря. К началу тридцатых монастырь, разумеется, разорен.

За решением властей (там, где до революции жили монашенки, теперь пусть корчатся роженицы) явственно виден замысел, отвечающий большевистской *изнаночной* логике. Согласно этой логике, прошлое надо не просто стереть из памяти – его следует «перекоммутировать», вывернув наизнанку (языческое сознание, глубоко погруженное в древние сакральные смыслы, ко всякого рода «перекоммутациям» относится всерьез).

По маминым словам, бабушка «очень переживала, расстраивалась, что не мальчик. Говорила: нельзя ли поменять?» (Тут, в отличие от «квартирного» вопроса, она, что называется, дала маху, не распознав замысла судьбы, уже строившей на мальчиков свои, далеко идущие, планы.) Судя по возмущенной реакции: «С ума сошла, девка красивая, умная, таких не меняют!» – медсестра, явившаяся с радостным известием, бабушкиной шутки не поняла.

По этой ли причине (как сказали бы нынче: гендерного разочарования), или, пережив смерть Раисы, боялась брать на себя ответственность за младенца – с новорожденной бабушка не сидела. В гости на Забалканский внучка стала ходить, когда немного подросла. Но и тогда бабушка брала ее к себе ненадолго. На день-два, редко – на неделю. Однако эти недолгие гостевания сыграли в маминой жизни особую роль.

Погостить у бабушки – казалось бы, что здесь особенного? Чтобы ответить на это вопрос, придется сравнить жизнь на Забалканском с жизнью на 1-й Красноармейской, в маминой родной квартире. Забегая вперед: между ними лежала пропасть. По сути, непреодолимая. Не два различных уклада – а две цивилизации. Две *формы жизни*.

Мамина, на 1-й Красноармейской¹⁰, началась в июле 1931 года, когда из бывшего женского монастыря ее привезли в пятикомнатную коммуналку, где ее родители – Капитолина и Василий – занимали свои законные 8 квадратных метров. Эта односторонняя квартира (нынешние риелторы сказали бы: «гребенка») выходила окнами на банный двор. Беря выше и шире (как если бы google-карты в те годы уже существовали), в окрестностях дома можно разглядеть Военно-механический институт и большой гастрономический магазин. Однако центром предвоенного мироздания остается все-таки баня. В будние дни работавшая как «женская». Но по субботам и воскресеньям в ней обслуживали солдат. На помывку их приводили строем. Спустя годы (хотя сама она в этом не участвовала, для подобных развлечений была еще маловата) мама рассказывала: «Наши девушки висели на окнах, болтали с солдатами, заодно, наверное, подсматривали...»

Мне, доподлинно знающей, что станет с этими чистыми мальчиковыми телами, слышится слово: *напоследок*. Из мальчиков, отправленных на фронт летом 1941-го, в живых останется 3 % от общего числа.

«В первой комнате, – рассказывая о своей родной квартире, мама считает от кухни, – жила другая моя бабушка, Мария Лукинична. Кроме моего отца, у нее было еще три сына: Александр, Андрей и Григорий».

¹⁰ Еще один пример «перекоммутации»: до революции Красноармейские улицы назывались Ротами. Всего их насчитывалось двенадцать (тринадцатая – Заротная) по числу ротных подразделений Измайловского лейб-гвардии полка.

В маминой памяти их комната выглядит так: «Все пространство занимали кровати. У двери деревянный резной буфет. Шкафа не было. Посредине стоял дубовый стол на толстых ножках».

Раньше им принадлежала и восьмиметровая комната, но после женитьбы Василия ее отдали молодой семье. Мамин брат Виктор родился в ноябре 1939-го, но отец так его и не увидел: как раз тогда, в ноябре, он ушел на Финскую, а когда вернулся (в апреле 1940-го), младенец Виктор уже умер от менингита.

Еще один мамин брат родился мертвым. Потому и нет имени: не успели дать.

Счет мальчиковых смертей на этом не останавливается. Сын соседки Муси умер зимой сорок первого (не блокадной, а предвоенной). Мамин двоюродный брат Алик годом позже – в блокаду. Потом, после войны, они говорили: в нашей квартире мальчики не живут.

Война – рубеж. В маминих рассказах все строится на этом разделении: «перед войной» и «после». К этому я давно привыкла и почти не замечаю. Но зачем, рассказывая о жизни соседей, мама, в качестве предупреждения, неизменно указывает метраж? Словно все, что случится с ними в дальнейшем – не слепой замысел судьбы, а точная математическая функция от площади их комнат: закономерность, над которой можно сколько угодно ломать голову, но нельзя разгадать.

«Следующую, метров восемнадцать, – мама рассказывает, я записываю на диктофон, – занимала полячка Варвара Феликсовна. Она умерла перед самой войной. Но успела пригласить к себе каких-то дальних – скорей всего, по мужу, – родственников. Александру Ивановну с тремя дочерьми: Шуркой, Валею и Люсей...»

В июле 1941-го Александра Ивановна, чью голодную крестьянскую память еще не отшибло, увезла младших дочерей назад, в деревню. Ей казалось: на деревенские хлеба.

«Осталась одна Шурка».

За маминими словами мне слышится интонация из дневника Тани Савичевой¹¹. Будто мы обе, и я и мама, идем у него на поводу.

На самом-то деле Шурка вывернула Танину судьбу наизнанку, догадавшись – ранней осенью 1941-го, когда большинство ленинградцев еще надеялись, что все будет как в Финскую: победно, быстро и на чужой территории, – устроиться работать управхозом. Но не по месту жительства, где ее знали, а на какой-то из дальних Красноармейских.

Блокадная должность управхоза – «золотое дно». От тех, кто умирал, оставались не только карточки (для нечистых на руку управхозов, а таких, по мнению выживших ленинградцев, было большинство, эти выморочные карточки – программа минимум), но и ценные, весьма ценные, вещи. В общем, есть где разгуляться, особенно если ты – девка-хват. После войны Шурка не могла удержаться, хвасталась перед соседями. «Показывала ожерелье необыкновенной красоты».

Вот так, преуспев в блокаду, она – из простой деревенской девахи – превратилась в интересную и весьма состоятельную дамочку, которой нет дела до родни.

Следующая комната: тети-Настина. По маминой экспертной оценке, метров 13. (Тетю Настю я помню: в моем детстве она – маленькая сморщенная старушка. Повторяя за мамой, я называла ее не бабушкой, а «тетей Настей».) У нее было две дочери: Надя и Женя. Про довоенную жизнь их семьи мама рассказывает так: «Тети-Настин муж, дядя Тима, в мирное время служил в пожарной охране. С тетей Настей они не были записаны. Она – Каковкина, он и дети – Харлампиевы. Но до войны все было проще: записаны, не записаны – прописывай кого хочешь».

¹¹ Ленинградцы знают этот дневник, маленькую записную книжку, обтянутую шелком, в котором одиннадцатилетняя блокадная девочка ведет свой страшный учет. Последняя запись, сделанная одеревенелыми пальцами: «Осталась одна Таня».

Если прочесть слово за слово, бросается в глаза обилие производных от глагола *писать*. Кажется, мама упомянула все, характеризующие отношения советского человека с родным государством. За исключением одной – по тогдашним временам решающей. Но доносов в их квартире не писали. Те, *на кого* можно было донести, не давали поводов: молчали и таились. Те же, *у кого* мог возникнуть такой соблазн, решали свои жилищные проблемы другими путями. Как, например, Шурка, отвоевавшая себе отдельную, собственную, комнату путем взаимной переписки с выжившими в оккупации родственниками. «В сорок шестом, когда ее мать и сестры хотели вернуться, Шурка их не приняла. Написала им письмо: дескать, не приезжайте, все равно не пропишу».

Пример красноречивый, но, как впоследствии выяснилось, не единственный.

До войны у тети Насти тоже жила деревенская родня. Племянницы, племянники, приезжавшие в Ленинград на время. На время же и прописанные. «Приезжали, уезжали, тетя Настя никому не отказывала». Единственная из неиссякаемого потока, о ком мама никогда не упоминала: тети-Настина двоюродная племянница Марфа. Почему – об этом позже.

Еще одна соседка – Мария. Она жила в тупике на месте бывшей прихожей – восемь метров без окна. В ленинградских коммуналках такие тупики – обычное дело (как правило, со стороны парадной лестницы, которой пользовались прежние жильцы: в новой жизни с барами покончено, барские привычки нам чужды), но чаще в них устраивают кухню. «В войну эта Мария исчезла. На ее место вселилась новая жилищка – тоже Мария. И обе стервы», – в маминих рассказах отголоски коммунальных распрей звучат до сих пор¹².

На другом конце коридора – со стороны черной лестницы – тоже устроена выгородка. Мама называет ее «тамбур». Общий для двух квартир: 22-й, мамин, и 23-й – соседней. Сперва я поняла это так, будто в тамбур открывались обе квартирные двери. Оказалось – нет.

В плане их три (вообразим себе технический паспорт, нарисованный на плексигласе, – а потом, украдкой, сотрем). Третья ведет в соседскую кухню. Расположенную *отдельно* от квартиры. Что создавало для жильцов известные трудности. Только представьте: сто раз на дню, туда-сюда. С кастрюлями, со сковородками, с тазами. А если еще и с ключом?.. Потому и не запирали. «Кухня стояла пустая – никакой утвари, только голые столы и плита».

Кстати, дверь на лестницу тоже не запирали. На ночь ее закладывали на крюк.

Чтобы завершить тему замков (вернее, их отсутствия): «Раньше с внутренней стороны была защелка. Потом, видно, надоело стучать, звонка ведь тоже не было, из двери вырезали кусок доски». В результате нехитрой операции образовалась дырка: сунь руку, отодвинь защелку и входи. Из тамбура попадали прямо в кухню. Длинную, метров четырнадцать. «На все про все одна раковина: хочешь, умывайся или мой посуду, хочешь – ночные горшки». Грязную воду сливали туда же, в раковину. Хотя туалет в квартире был. Мама вспоминает: «Унитаз стоял на бетонном основании. Нам, детям, казалось: высоко».

Этаж над квартирой занимала школа. «От беготни и топота у нас все дрожало, особенно на переменах». С перерывом на уроки топот стоял с раннего утра. Преимущества такого соседства открылись позже, когда она сама стала школьницей. «Нянечка, дежурившая на первом этаже, никого не выпускала. Но там была еще одна дверь, на нашу лестницу. Дверь не запиралась. Надоело сидеть на уроках – снимай крюк и выходи». В первом классе мама частенько это проделывала. Так же решительно, как двумя годами раньше раз и навсегда разделалась с детским садом: позавтракала, поиграла с детьми и (придя к выводу, что во дворе в сто раз веселее), никому не сказавшись, ушла. Благо детский сад близко. Буквально через дорогу.

Теперь о хозяйственных делах. Мелочь стирали в кухне, там же и сушили. Крупное: пла-
тья, рубахи, постельное белье – во дворе. В подвальном этаже действовала общественная пра-

¹² Уже перенося мамин рассказ на бумагу, я задумалась, стоит ли оставлять в тексте все без исключения имена. В конце концов, читателю нет до них дела. А потом решила: пусть эти люди останутся. Хотя бы здесь.

чечная. «Большая, может быть, метров сорок. Там были печи и два огромных котла. В одном кипятили белье, в другом – воду. Холодная лилась из крана. Стирать пускали по записи, запись вел дворник. Стирали в деревянных лоханях. В этих лоханях были затычки – грязную воду лили на пол». Выстиранное белье сушили на чердаке, разгороженном на отдельные секции – по числу квартир.

«В сентябре, после первой бомбежки, дощатые перегородки разобрали и выкинули. По всему периметру чердака выставили бочки с песком». Этим песком взрослые, дежуря по очереди, тушили зажигалки. Однажды она тоже затушила. За это ей влетело от матери: зачем ходила на чердак!

Белье обязательно гладили. Чугунным утюгом. Раскаленный утюг голой рукой не возьмешь. Пользовались прихватками. Запах горелых прихваток я помню. Чугунными утюгами – одним гладишь, другой в это время греется – я успела попользоваться, пока не обзавелась электрическим. Некоторые хозяйки еще и катали. «Валиком и каталкой – такая длинная палка, волнообразная», – этого объяснения я так и не поняла.

Катая белье, мамина мама пела.

Готовили на керосинках и примусах. Газа не было. Ленинский район, к которому относятся Красноармейские, газифицировали перед самой войной. «Нет, конечно, газ – это было великолепно, но на двадцать человек четыре конфорки. Вокруг плиты вечно возникали стычки. Особенно по вечерам. Те, кто не работал, старались управиться в дневное время».

Но детей эти стычки не касались.

Главная детская жизнь протекала во дворе или в Польском саду¹³. «Летом мы болтались на улице до самого вечера, пока не позовут».

Со двора дозваться легко. Из сада – еще попробуй: Польский сад небольшой, но в те времена очень густой. Деревья, высокий кустарник – летом в кустарнике можно прятаться. Зимой в саду заливали каток и устанавливали горку. Деревянную, высокую. Мама говорит: «Как два этажа», – для городского ребенка *этаж* – мера высоты. Поблизости был еще один сад, побольше. Сейчас там Молодежный театр, а раньше, до войны, театр Буфф. «Летний, в одну досочку, точь-в-точь сарай. Иногда, когда зрителей было мало, нас туда пускали. Говорили: сидите тихо». *На протырку* – понятие не из девчачьего лексикона: в кино на протырку ходили мальчишки.

Двор большой. «По всему периметру стояли дровяные сараи, в большинстве двухэтажные. А еще в нашем дворе жила лошадь. При ней состоял конюх, дядя Кирилл – он возил дрова. Его дочку звали Полина Иванова».

Полин Ивановых во дворе две. Чтобы как-то различать, дочку дяди Кирилла называли «Побля дворника». Другая Полина Иванова – мамина подруга, «по национальности мордва». Их семья занимала комнату в подвальном этаже, «громадную, метров пятьдесят». Кроме Полининой, там жили еще две семьи. «Если заглянуть в окно – одни сплошные кровати. А шкафа у них не было. Одежда висела на гвоздях». Но в те годы этим никого не удивишь.

Другая подруга: Ляля Харьковец – на два года старше мамы. А еще Зоя, Ева и Ата (Рената) – родные сестры. О том, что они еврейки, мама понятия не имела. Из чего я заключаю: про «мордву» взрослые упоминали, про евреев – нет. Акцентуация на «еврейской теме» возникнет позже, в конце сороковых.

Девчоночьи дворовые забавы переходят из поколения в поколение: «Мы скакали на скакалках, играли в классики. Или в куклы». У мамы был деревянный ящик с игрушками. Дешевые, пластмассовые, ей покупали родители. Куклы шила бабушка. Свой ящик мама частенько

¹³ На самом деле сад бывшей усадьбы Г. Р. Державина (теперь его дом-музей). Фасадом усадьба выходит на Фонтанку. Название Польский – по близости католического собора Успения Пресвятой Девы Марии, куда ходили в основном поляки.

выносила во двор. Еще одна игра, из любимых: «в магазин», взвешивали «продукты» – без бабушки и тут не обошлось, это она принесла из больницы сломанные весы.

Иногда всей дворовой компанией ходили гулять «на шесть улиц». Если считать от Витебского вокзала: Рузовская, Можайская, Верейская, Подольская, Серпуховская, Бронницкая. Чтобы легче запомнить последовательность названий, кто-то из местных жителей – давно, еще в XIX веке – придумал мнемоническую присказку: *разве можно верить пустым словам балерины*.

На Серпуховской жила Соня (тоже «бывшая», из бабушкиных петербургских знакомых). Потом она стала маминой крестной. Крестным – Иван Леонтьевич Превалов, тот самый: не то шеф-повар, не то метрдотель из «Метрополя», за которого бабушка так и не вышла замуж, но во внучкины крестные позвала. Крестили в Измайловском соборе. В 1931-м собор еще действовал, но крещения уже не поощрялись. Секретный циркуляр «О мерах по усилению антирелигиозной работы», приравнявший борьбу с религией к классово-политической, разослан по инстанциям в 1929 году. Впрочем, кроме ответственного работника «Метрополя», остальным терять нечего: мать новокрещаемой – прачка, отец – рабочий.

«С мальчиками-одногодками мы играли в казаки-разбойники, в пятнашки, в ножички, в Тимура и его команду. – Была, оказывается, и такая игра. Я-то думала, как в книге. Оказалось, все наоборот: – Мы никому не помогали, просто считалось, что помогаем».

Но самая любимая забава – лапта. «В лапту играли все, даже большие мальчики».

«Большим» в то время лет по пятнадцать-шестнадцать. Наряду с общими, у них свои, опасные, развлечения. «Случалось, они выгоняли нас, малышню, со двора. Говорили: уходите, уходите отсюда».

Один такой случай мама прекрасно помнит: «У нас на 1-й Красноармейской был гастроном. Когда продукты подвозили с вечера, холодильников-то не было, их запирали в кладовую. Там деревянная дверь с решеткой. Однажды большие мальчики эту решетку выломали, влезли и взяли колбасу. Эту колбасу они раздавали всем – каждому из нас досталось по целому батону. Домой нести нельзя – это мы уже соображали. Что-то съели, остальное выбросили. Прекрасная была колбаса, ароматная».

Вообще говоря, «больших мальчиков» могли посадить. Но обошлось. Им судьба готовила иную участь: погибшего поколения.

«В войну их всех постепенно призывали. Назад не вернулся ни один. Про кого я потом ни спрашивала: не знаем, не знаем, не знаем...»

Но пока что все они – и девочки, и мальчики – живы. На дворе 1937-й.

Перекоммутация общественного сознания идет ударными темпами. Ее пространство расширяется (обращаясь к реалиям грядущей, электронной эпохи: игры государственного разума выходят на следующий уровень).

В маминой жизни им, государственным, противостоит другая игра: в нее играют в бабушкиной, спасенной от нашествия варваров, квартире. Да, собственно, уже и не квартире, скорее – здесь я забегаю вперед – в пристройке к маленькой деревенской церкви, где на чердаке кудачут куры и хранится всякое никому не нужное старье...

Правила такие.

Во-первых, лестница: судя по мраморным ступеням, парадная. Эти пологие ступени запомнились особенно отчетливо – что, впрочем, неудивительно: лифта в доме нет, бабушкина квартира на шестом, последнем, этаже. Кроме парадной лестницы, есть и черная. По ней можно взойти на чердак, но здесь, на Забалканском, он не бельевой, а «куриный»: бабушкины соседки, Анна и Мария Дмитриевны, держали кур и петуха. «Иногда, – вспоминая, мама улыбается, – меня угощали свежим, еще тепленьким, яичком».

Из важного, отложившегося в памяти: «Входная дверь запиралась на замок». (Замок, ключ, звонок – атрибуты нормальной городской жизни, о которых я и упоминать бы не стала, просто не обратила бы внимания.) Большая прихожая: но здесь, в отличие от 1-й Красноармейской, в прихожей не живут. Старинная вешалка красного дерева с подставкой для обуви. Ковровая дорожка – красная, шерстяная; черные широкие полосы по ее краям. Дорожка чистая: на Забалканском принято переобуваться. Слева от входной двери бабушкин шкаф. «Зеркальная дверца, выдвижные ящики, верх такой... с изгибами, очень красивый».

Шкаф и вправду красивый. Декоративная планка по внешнему контуру карниза – изогнутая, в стиле *art nouveau*. За долгий век ящики потихонечку разошлись, теперь они выдвигаются с трудом. В зеркале, подернутом разводами времени – амальгама отсырела с исподу, – отражается моя нынешняя комната. Вглядываясь в мутноватое отражение, я жалею, что это не бабушкин шкаф. Его я купила в начале девяностых. На первые «свободные» деньги. Шла по Васильевскому мимо антикварки, смотрю – сгружают. Раньше, в восьмидесятых, и в голову бы не пришло. А тут – будто шум крови в ушах – и непреодолимо: сколько бы ни стоил... Моё.

Из обстановки мама помнит кровать – никелированную, «с шариками»; круглый туалетный столик с большим зеркалом; кованный, с металлическими накладками по углам, сундук, где бабушка хранила вещи: постельное белье, льняные полотенца, платья, но главная драгоценность – ткани, не зря же она маялась по очередям; огромный плюшевый диван – на этом диване мама спала, когда оставалась ночевать.

Перво-наперво полагалось переодеться: здесь, у бабушки, негоже ходить в том, в чем привыкла *там, у себя*. Нарядные платья, достойные *здесьней* жизни (шерстяные, шелковые), бабушка шила ей сама. До войны у нее была машинка «Singer». В эвакуации ее обменяли на козу.

Спустя годы я еще долго о ней жалела. Не из сентиментальных – из самых практических соображений¹⁴.

Однако куклы – в подарок внучке – бабушка шила на руках. Больше всего маме запомнился негритенок: улыбчивый, в красной рубашонке, в синих широких шароварах, ручки из черного шелкового чулка. Оглядываясь назад, можно сделать вывод: по части кукольных голов (они продавались в магазинах), легкая промышленность и кинематограф шагают нога в ногу. Как в любимом и детьми, и взрослыми фильме «Цирк».

«У бабушки в комнате работало радио. Не тарелка, как у нас на кухне, а наушник с ручкой». На практике это означает: хочешь послушать – надень наушник. С тарелкой, вещающей от гимна до гимна, такие вольности не проходили. «У бабушки я слушала сказки. Их читала Мария Григорьевна Петрова. Читала она изумительно, просто не оторваться...»

Дома мама читала сама. Детские книжки с иллюстрациями. Маленькие стоили 3 копейки, те, что побольше, – 5. Самуил Маршак, Агния Барто. Наверняка кто-то еще, но другие не запомнились. Чтобы спокойно почитать, приходилось запирается в туалете. Когда страждущие стучали в дверь, мама уходила в соседскую кухню – благо не заперто.

¹⁴ Финская «Tikka-koski», в русском просторечии «Тика», которую мама купила в середине пятидесятых, давала неплохое качество строчки, но до «Зингера» не дотягивала. Лет через десять в доме появилась «Veritas», производства ГДР, – эта считалась «беловшейкой»: тонкую ткань брала хорошо, с толстой то и дело капризничала. Следующая, уже моя собственная, «подольская», отечественного производства – года через два, отчаявшись добиться более-менее сносной работы, я перевела ее в разряд тумбочек. Мои мучения закончились с появлением «Brothers» – этому детищу японских инженеров подвластно *всё*. Но меня – в первый же день, едва я за нее села, – изумило даже не число операций (сказать по правде, мне хватило бы и четверти), а странное ощущение: будто эти, дай им Господь здоровья, инженеры, прежде чем принимать конструктивные решения, нашли время, чтобы поговорить со мной по-человечески, разузнать, а чего мне, собственно говоря, хочется. Не надоело ли колдовать над втачными петлями или, скажем, тупо слюнявить нитку, чтобы вдеть ее – с третьего, а то и с четвертого захода – в игольное ушко (а вдруг, паче чаяния, я мечтаю о «петле-автомате» и нитевдевателе); или, вставив шпульку в колпачок, шарить в нутре челночного механизма слепыми пальцами, пока этот чертов колпачок не сядет в конце концов на штифт. Я уж молчу про смену лапки: одним движением и безо всякой тебе отвертки, обрыдшей до такой степени, что семь раз подумаешь, прежде чем эту лапку поменять.

Между тем обратная перекоммутация (играть так играть) выходит на новый уровень: так бывает, когда в дело вступает сильный оператор – в мамином случае Анна Дмитриевна, бывшая гувернантка. «Когда я приходила к бабушке, она приглашала меня к себе. Учила. Показывала, как правильно накрыть на стол. Мы пили чай. Потом Анна Дмитриевна снимала со шкафа толстые подшивки “Нивы”. Там были и детские страницы. Анна Дмитриевна читала мне вслух. Еще мы занимались географией. Я очень хорошо ее вспоминаю. Худенькая. Высокая. Голос тихий, ласковый. Аккуратная гладкая прическа...»

На 1-й Красноармейской тоже есть журналы, но другие: «Работница», «Крестьянка». До войны маме казалось: скучные. В блокаду, когда они пошли в растопку, на последних страницах обнаружили кулинарные рецепты. Борщ, котлеты, каши. Голодая, мама их перечитывала. «Буквально по сто раз. Мне кажется, тогда я и научилась готовить...»

С бабушкой они ходили гулять.

Для девочки, привыкшей болтаться во дворе, эти прогулки – сгустки памяти. Твердые, но не всегда драгоценные. «Чаше всего мы отправлялись в скверик напротив Витебского вокзала. В то время канал, соединявший Фонтанку с Обводным, еще не засыпали. Приходилось обходить: мимо Военно-медицинской академии. Там повсюду люки. В этих люках жили беспризорные дети. Я их помню: грязные, оборванные. Много детей. Разного возраста, разного роста...»¹⁵

«Время от времени мы с бабушкой заходили в церковь на Сенной. Очень красивая. Такая маленькая, круглая, с луковками...»

Однако *тема Бога* входит в мамину жизнь не этой круглой церковью с *луковками*, взорванной почти на моей памяти: в 1961-м (теперь на ее фундаменте вестибюль станции метро «Площадь Мира»), – а тайной монашенкой, одетой в черное.

Маленькая, сгорбленная (но не согбенная), голова покрыта капюшоном. Не то чтобы мама ее побаивалась, но в комнату к Елизавете Кузьминичне заходила редко. На ребенка, выросшего в советской коммуналке, эта комната производит странное, едва ли не пугающее, впечатление: все завешено иконами. От пола до потолка. Скорей всего, храмовыми. Спасенными от большевистского погрома. Но сама ли Елизавета Кузьминична спасала, или выбрана *хранителем* – этого уже не узнать.

Из спасенных икон сложилась тайная домовая церковь. Со своими тайными прихожанами. Мама их видела: старики и старухи (впрочем, для шестилетнего ребенка любой старше сорока – старик). Они приходили ближе к вечеру, когда на улице смеркалось. В такие вечера бабушка не разрешала выходить из комнаты. Говорила: сиди здесь, у Елизаветы Кузьминичны гости. Гости пели тихими голосами. Мама говорит: светлыми. Прикинув ухом к стене, она вслушивалась, но не могла разобрать слов.

На 1-й Красноармейской песни совсем другие. «Мы, девчонки, выходили в коридор. Плясали, распевали песни из фильмов. *На московском прекрасном просторе...* Гриша нам аккомпанировал». Гриша – любимый мамин дядя, самый младший из сыновей Марии Лукиничны, играл на гитаре.

Тихие гости уходили поздно, когда мама уже спала.

Думая об этой церкви, я вижу высокий иконостас. Царские врата закрыты. Сквозь них ходить некому. Те, кто имел на это право – кто в лагере, кто на дне. Этим – обновленцам, синодникам, которым нынешние власти благоволят, не доверишься: прознают – продадут.

¹⁵ Вместо заполошных восклицаний: Как?! Разве с этим позорным для молодой советской страны явлением не покончено еще в двадцатых? – хочется уточнить: что это там за дети в люках – рабочих, чьим отпрыскам не хватило мест в детдомах, заполненных детьми врагов народа; или, наоборот, врагов народа, чьим детям, оставленным на произвол судьбы, все-таки удалось уйти незамеченными, проскользнуть сквозь пальцы «передового отряда большевиков», ленинградского ВЧК?

Слава Богу, у тайной церкви свои предстоятели: евангелисты на створках – будто не только общее, но и их, спрятанное, спасенное от варваров время пошло в обратную сторону, вернулось к первоапостольским дням.

Евангелисты хранят молчание. Глаза опущены долу – говоря обыденными словами, все четверо смотрят в пол. (Им, в отличие от их прихожан, известно, *что* вот-вот грядет.) Место храмовой иконы пустует – уже не узнать, в чью честь этот тайный храм освящен. На дьяконских вратах ветхозаветные пророки. Дьяконские врата тоже закрыты. Там, где полагается быть алтарю, глухая стена. В центре Деисусного чина – «Спас в силах», но о спасении молиться поздно: чудовищные тридцатые длятся (маме – семь, значит, 1938-й). Вознося сугубые молитвы, прихожане смотрят выше – на следующий уровень, где для них припасена подходящая икона. Сюжет самый что ни на есть ленинградский: «Сошествие во ад».

Не пройдет и трех лет, как, приняв форму блокады, он воплотится в жизнь.

А пока – преддверие ада: за стенами, в городе творится что-то *неладное*. Носится в воздухе, крадется по лестницам, срывает чугунные крюки. Что-то, о чем взрослые молчат: и здесь, на Забалканском, и там, на 1-й Красноармейской. Только Мария Лукинична, мамина бабушка по отцу, год от году чернеет лицом.

Неладное творится втайне, в мертвой тишине.

В бабушкиной квартире стоит другая тишина. Мама рассказывает: «Там всегда было тихо: шаги, разговоры. Теперь я вспоминаю, когда к Елизавете Кузьминичне приходили гости, они всегда молчали. Придут, поздороваются, разденутся в прихожей...»

Это не я поставила диктофон на паузу. Это мама молчит, словно прислушивается. А потом, через паузу:

– Знаешь, я ведь тоже молчала. Дома – о том, что видела и слышала у бабушки. У бабушки – о том, что слышала дома...

В сознании шестилетнего ребенка две жизни – «дома» и «у бабушки» – не пересекаются, идут параллельными курсами.

Кажется, будто детское незамутненное сознание отражает двойную реальность, в которой живет страна. Два мира, лицевой и изнаночный, меж ними зияет дыра молчания – стволовая клетка нашего будущего двоемыслия. Граница соприкосновения неопределима. Она везде и нигде.

Так повелел их рябоватый желтоглазый «бог», творец видимых и невидимых. На видимой стороне счастливые лица физкультурников, ликующие первомайские толпы, трудящиеся заводов и фабрик шагают нога в ногу в едином строю. Фасад Главного штаба колышется портретами, намалеванными на тряпках – образ иконостаса, вывернутый наизнанку. По ночам с *той*, оборотной, стороны в город выходят бесы, перетянутые кожаными португееми. Вместо лиц – личины. Римляне называли их: larva. Изнаночное советское время всецело их: лестницы, сведенные ужасом; проспекты и улицы; стогна града, вздернутые, повисшие в пустоте.

Бедный, бедный мой Город, ненавидимый ларвами! Оборачиваясь, я проникаю взглядом за зеркальную дверцу. Отражение комнаты зыбится. Там, в глубине зазеркалья, маленькие фигурки, отданные им на откуп... Судьба, горше которой не представить. Да горше и нет.

V

Уходя с Забалканского, мама снимала нарядное платье и надевала свое. Ситцевое или штапельное. Так, возвращаясь в мир видимых, она превращалась обратно в дворовую девочку...

В счастливом, лицевом, мире эта девочка ведет счет по «лётам».

Летом 1935-го они отдыхали в Горбове, у прабабушки Федоры. В памяти сохранилась большая русская печь. В этой печи, дождавшись, когда внутри немного остынет, ее мыли. В первый раз она страшно испугалась:

– Сама посуди. Посадили в таз, таз затолкали внутрь.

– Ну да, – я киваю. – Хорошо хоть не на лопату.

Как в сказке про Бабу-Ягу.

1936. Антропшино, под Старой Руссой. Маме запомнились приземистые избы, покосившиеся от времени заборы. За штакетником, битым проливными дождями, палисадники с георгинами. Желтые головы качаются на ветру. Но у бабушкиной золовки, сестры ее мужа, дом новый, двухэтажный и, что особенно удивительно, оборудованный городскими «удобствами»: не дворовая будка над ямой, а унитаз – фаянсовый, со сливным бачком. Своим необыкновенным, в сравнении с соседями, достатком бабушкина золовка обязана свиньям. Свиное стадо, нагуливая бока, мирно полеживало на берегу. Выбрав тушу покрупнее, мама забиралась на холку и давала хорошего пинка. Обалдев от такого обращения (ладно, бесы, для нас, парнокопытных, дело привычное, но это-то что за безобразие!), свинья, не разбирая дороги, неслась к реке. Упоительные скачки на свиньях – главное впечатление того, антропшинского, лета: как ни цепляйся за щетинистую холку, все равно сбросит. И окажешься в грязи.

Еще одна бабушкина золовка жила на другом берегу реки. В гости к ней они ездили на лодке. Берег, до самой воды заросший черной смородиной – причаливая, лодка погружалась носом в густые заросли. В памяти сохранился крепкий до одури запах: жесткого, подсморщенного на концах веток, смородинового листа.

Летом 1937-го они сняли дачу под Вырицей. Поселок назывался Третья платформа. «Бабушка Дуня приезжала редко. Чаше мама или Гриша, мой дядя. Он уже работал на заводе, но все равно приезжал. В то лето я порезала пятку – осколком стекла. Можно сказать, расползла. И Гриша носил меня на руках. Когда его не было, я лежала в гамаке».

Судя по тому, что ребенка пасли по очереди, летом 1937-го с производства никого не отпустили: страна встает на военные рельсы – не до отпусков. Ожидание войны – примета «общего» времени. Но в истории семьи этот год – тоже своего рода рубеж. Дача, снятая на лето (раньше ездили к деревенским родственникам), – примета городского обихода: так, шаг за шагом, новые горожане теряют связь с деревней.

Как и многое в жизни, эта кровная потеря осознается не вдруг.

Со временем она станет обретением: кровной связью с Ленинградом, которую мало кто из них ощущал до войны. После блокады эта связь стала неразрывной. Переходящей из поколения в поколение. «Город, который мы отстояли» – даже в XXI веке этой трагической связью можно многое объяснить.

В 1938-м они снова едут в Тверскую область (в то время уже Калининскую). Но не в Горбово, к бабушке Федоре, а в Карамзино. Там дом маминого крестного. Двухэтажный, высокий, с погребом: среди окрестных строений он такой один. (В какие годы построен – неизвестно. Скорее всего, во времена НЭПа, когда деревня на короткий срок ожила. За этим домом, построенным крестным, стоит перелом его судьбы. Построил и уехал в Ленинград. Почему не продал? Не нашел покупателя? Или надеялся вернуться, не хотел рвать с корнем?..) В доме просторная подклеть под одной крышей с жилыми помещениями: в те годы, разумеется, пустая

– на должности шеф-повара «Метрополя» скотину держать не с руки. На заднем дворе фруктовый сад. За десять с лишним лет плодовые деревья успели выродиться – чеховская пьеса по-советски.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.